



Г. БАКЛАНОВ, Ю. БОНДАРЕВ, В. ТЕНДРЯКОВ

Сценарий

Сорок девять дней

С огромной высоты океан кажется неподвижным и тихим. На этом бесконечном просторе глазу не на чем остановиться. И среди водной пустыни, среди застывших волн затерялось микроскопическое суденышко. Оно покачивается в океане.

С высоты мы медленно приближаемся к нему. Постепенно проступают его очертания — полузалитый водой верхний трюм, крошечная палуба, рубка, сломанная мачта, борт, на нем надпись — «Т-42».

Запустение, заброшенность. Крики чаек. Двери рубки распахнуты. Скрипят на поржавевших петлях. Входим в эти двери. Такое же запустение внутри. Крутится штурвал. Молчит радия. Разбросаны вещи. Только они теперь рассказывают обо всем, что было здесь. Холодная печь. Возле нее кирзовые голенища, старые резиновые подошвы. Открыт железный ларь, там со звоном катаются пустые консервные банки. Узенький столик, на нем судовой журнал. Ветер, врывающийся в открытые двери, листает его страницы.

Ведущий вниз открытый люк. Спускаемся несколько ступенек. Тесный, очень низкий кубрик. Четыре койки. Все они раскрыты, одеяла откинuty, чувствуется, что хозяева покинули койки поспешно. На одной из коек книга — Джек Лондон «Мартин Иден». На другой — лицом вверх кукла, раскосый разрез нарисованных глаз. На полу в проходе клочок газеты — схематическая карта океана. Грязный след ноги на ней. Крошечная печка. Рядом кусок кранца, остатки гармонии: клапана, проволока.

Сценарий иллюстрирован эскизами к фильму художника Б. Немечка.

Нож с деревянной ручкой, чайник, около него катается бритвенный пластмассовый стаканчик. На одной из коек на одеяле лежат ручные часы с ремешком. Заброшенность, запустение, мертвенная тишина. Сверху приближаемся к этим часам. Ясно виден циферблат, ползущая секундная стрелка. Все слышнее и слышнее тиканье часов: «Тик-так, тик-так». Поднимаемся вверх от часов. Тиканье отдаляется.

Чайка села на палубу. Качнулась с ржавым скрипом дверь рубки. Взлетела чайка. Она летит над океаном. Садится на гребень волны. Волна вздымается с ней вместе, и чайка взлетает опять.

Волна ударила прямо в экран... Отхлынула... Снова ударила и вынесла на крупный план обломок доски. На нем надпись:

ВСЕМ, КТО В ТЯЖЕЛОМ ПУТИ, ВСЕМ, КТО БОРЕТСЯ С ВЕТРОМ. ПУСТЬ НЕ ПОКИНУТ ВАС СРЕДИ ВОЛН МУЖЕСТВО, ВОЛЯ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.

Удар новой волны смывает с экрана предыдущий кадр.

На фоне черных валов взбесившегося океана возникают крупно листы вахтенного журнала. Ветер переворачивает их. Последняя страница. Расплывшиеся от морской воды чернила. Торопливые строки на французском языке. И возникает голос как бы из глубины времен. Потом на французскую речь наслаивается голос русского переводчика:

«...и по последнему счислению три дня назад находились в широте 45°50', в долготе 12°25' Вост, а остальное время счисление не производилось из-за бури... Никто уже не верит в спасение. Только носовая часть корабля торчит из воды. Полтора человека держатся за якоря и бушприт. Волны срывают одного за другим. А также и сами люди, чтобы крепче держаться, стараются оттолкнуть соседа, и всякий молит лишь о себе...»

Голос пропадает в реве шторма.

Измятый, захватанный листок частного письма сменил на экране страницу вахтенного журнала. И мы слышим вначале испанскую речь, потом голос переводчика:

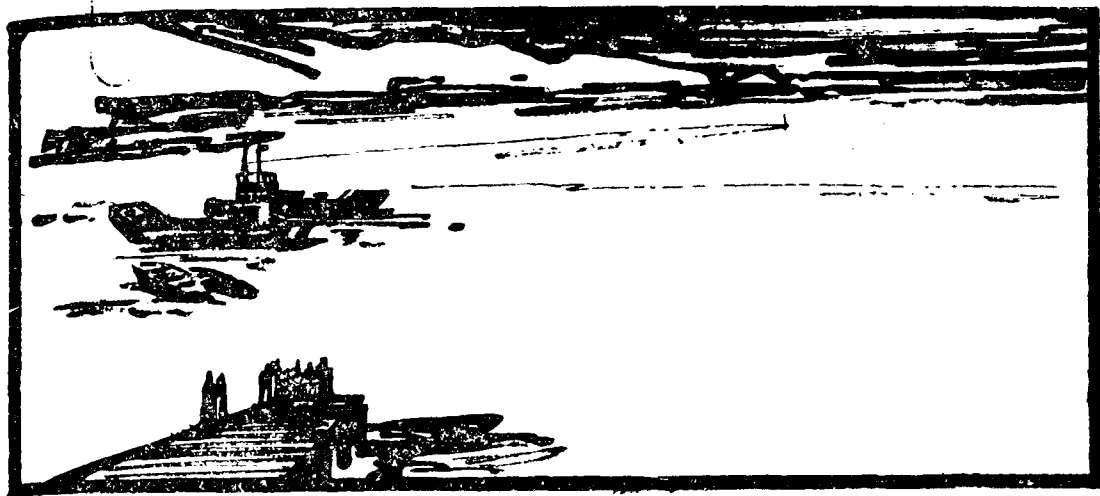
«...но я никогда не вернусь домой, Терезита, прощай! Велик мой грех перед небесами и перед матерью моей, ибо я покинул в волнах родного брата, хотя он умолял меня, держась за обломок мачты, и призывал бога. Но я спасал свою жизнь, а плот был мал и сухарей почти не было...»

Снова шторм заглушает голос. Из мрака волна выносит прямо к объективу обросшую водорослями бутылку. Сквозь стекло видны свернутые листки бумаги. Разглядываем их ближе, проникнув взглядом сквозь стекло. Неровные строчки. Английский текст. Потом голос англичанина, и, как всякий раз, на него наслаивается голос переводчика:

«...а так как на шестой день силы наши истощились и души наши были в смятении, то бросили жребий, кого из нас убить в пищу другим. И жребий выпал Маккиноу. Он сам взял заточенный гвоздь, пустил себе кровь в трех местах и стал просить бога об отпущении грехов. И тело его еще было теплым, а Бригауз сказал, что теперь у нас есть пища, и взял...»

Желтый листок рисовой бумаги. Японские иероглифы. Голос:

«...пятнадцать долгих дней и ночей носит нас по океану. Есть еще пресная вода и рыба, но океан вселил нам в души одиночество, разъединил всех, страхом помутил разум. Нас было десять человек на шхуне «Таваси Мару». Трое ушли к предкам,



двое сошли с ума. Команда перестала подчиняться. Один я, Окамото из Такогоамы, нахожусь в здравом рассудке. Смерть уже не страшна мне. Единственная моя надежда — может быть, эти строки дойдут до людей, научат их...

Наплывом листок с иероглифами сменяет страница японской газеты, а голос продолжает:

«...страшна судьба бедствующих в океане, ибо нет в несчастье ни друзей, ни веры, ни воли. В ожидании смерти каждый забывает о ближнем, и тогда он погиб не от голода и жажды, а от одиночества среди волн...»

Сквозь все эти кадры, от первого до последнего, из глубины экрана на первый план, время от времени вспыхивая, бегут цифры:

1780... 1820... 1860... 1903... 1910... 1930...

И на фоне сменяющих друг друга газетных полос появляются название фильма и вступительные титры.

Угрюмые скалы, покрытые снегом. Тяжелые волны разбиваются о камни. Океан волнуется. Суровый берег, темная вода, скупое солнце и простор без конца и края. Чем выше поднимаешься, тем шире бескрайний движущийся океанский простор, ощущение глубины, силы, дикости.

Когда от этого простора взгляд падает на бухту, кажутся крошечными суда, стоящие в ней, — баржи, буксиры, катера. Среди них у «бочки» — одна из барж, самая неприметная.

Борт баржи, на нем номер 42. Возле борта ящик, на нем тоже номер 42. Борт вместе с ящиком вздымаются и опускаются над горизонтом. Ящик плохо закреплен. Новая волна подбрасывает баржу. Ящик падает, по палубе рассыпается уголь.

Сержант Рахматуллин, стоявший на палубе, оборачивается. Лицо молодое, строгое. Шагает к углю, останавливается. Отворачивает рукав, смотрит на люк в кубрик, ждет. Оттуда доносятся звуки гармошки.

В жилом отделении баржи двое солдат: Фомин и Подгорный. Подгорный орудует шваброй — моет пол. Фомин, одетый празднично, как гость, сидит на чистом месте,

поджав под койку ноги в блестящих хромовых сапогах, играет на гармошке «Край земли скалистой...». Зажатый книгами флакончик одеколона на тумбочке, мокрая кисточка для бритья.

Подгорный глянул снизу на Фомина:

— А если дочка?

Некоторое время Фомин наигрывает на гармонии. В лице — сознание превосходства:

— У таких, как я, сыновья родятся.

Подгорный про себя усмехнулся. Он делает свое дело с сосредоточенным, хозяйственным видом. У него простоватое лицо, сохранившее детское наивное выражение — округлые щеки, пухлые губы. Швабра двигается по полу, задевает за начищенный сапог Фомина.

Фомин оборвал игру, посмотрел на сапог, на Подгорного, не спеша освободил плечо от ремня:

— Выношу благодарность.

Положил гармонию, вынул из заднего кармана брюк бархотку — все это сидя, потому что кубрик низкий, — смахнул с сапога грязь, старательно спрятал бархотку, расправил складки гимнастерки за поясом — высокий, статный, щеголеватый. Потянувшись, достал шинель.

Сверху из люка в кубрик наклонилась запачканная мазутом худенькая физиономия, глядит на одевающегося солдата:

— Коля, на берег?.. Там письмо мне должно быть. Захватишь, ладно? Мать беспокоится, что не пишу. Может, получила уже.

— Захватим.

Подгорный, выжимающий над ведром тряпку, оглядывается, протяжно говорит:

— Сидишь, як засватанный... Иди. Батько!

Рассыпанный уголь на палубе. Рахматуллин в который уже раз глядит на часы. Из рубки выходит подтянутый Фомин, на лице прежнее выражение самоуверенной праздничности. За ним Подгорный с ведром, Бойков. Рахматуллин, не поворачивая головы:

— Рядовой Фомин!

— До утра, Закир.

— Отставить. Я тебе не Закир. — Указывает на свалившийся ящик, рассыпанный уголь. — Это порядок?

— Эх, черт, ведь закреплял... Ребята приберут, младший сержант.

Младший сержант Рахматуллин с начищенных сапог до шапки меряет строгим взглядом Фомина:

— Сапоги порядок, в душе непорядок. Не пойдешь на берег.

Фомин мрачнеет, отвечает приглушенно:

— А ты душу мою знаешь?

Подгорный и Бойков, смущенно переминаются, виновато молчат. Рахматуллин строго оглядывает их, кивает на Подгорного:

— Переодевайся. Ты пойдешь на берег. В санчасть не забудь зайти. Шилова навести. — Делает шаг к рубке, оглядывается на Фомина, приказывает: — Прибрать. Как положено!

Рахматуллин поворачивается и идет к рубке. За ним Бойков, смущенно застывает:

— Закир... Товарищ младший сержант... Фомин телеграмму из дома ждет. У него жена рожает. Может, сын...

— Мы здесь солдаты. Службу несем. Сына ждет, на берег идет — одеколоном пахнет. Не серьезно.

Лодка удаляется от баржи. На солнце вспыхивают мокрые весла. В лодке, одетый так же празднично, как только что был одет Фомин, Подгорный. Фомин оторвал от него взгляд. Он в робе, в которой недавно Подгорный мыл пол, в той же рабочей позе, неохотно убирает уголь. Баржу качнуло волной, уголь рассыпается. Молча проходит Рахматуллин. Фомин подбирает уголь. Опять в обратную сторону проходит Рахматуллин, ногой подкинул далеко откатившийся кусок угля. Фомин глянул ему вслед. Подбирает уголь. Канатами крепит ящик. В третий раз проходит Рахматуллин. Указав на грязный пол, говорит:

— Помой!

Волна окатила палубу.

— Океан помоем,— говорит Фомин.

— Возьми швабру, помой!

В кубрике тихонько пробует свои силы на гармони Бойков. Лицо наивно-счастливое. Прислушивается и сам не верит, что у него получается.

Спускается хмурый Фомин, с сердцем оттолкнул ногой ведро, бросил косой взгляд на смущенно-счастливое лицо Бойкова. Тот несмело улыбнулся:

— Выходит...

— Выходит у бабушки — отвори да затвори. Положи гармонь.

Бойков покорно откладывает гармонь. Стараясь не запачкать гармонь угольными руками, Фомин берет ее, несет в угол:

— И не хватай больше.

Идет к ведру. Бойков бросается к нему:

— Дай полью на руки.

Фомин моет руки. Бойков сочувственно смотрит на него.

Чистыми руками Фомин заворачивает начищенные сапоги в тряпочку, прячет в чемодан, ворчит:

— Занесло меня на ваше корыто. Ну, мы еще поглядим...

Палуба баржи. Глухо доносится из кубрика гармошка. Посвистывает ветер. Солнце село. На палубе, лицом к темному океану, стоит Рахматуллин. Трудно сказать, о чем он сейчас думает. Лицо его неподвижно.

Рядом с ним из темноты появляется Бойков. Вместе с сержантом смотрит на океан. Сказал вдруг:

— А все же ты его обидел, Закир.

— Обидел, не обидел — такого не понимаю. Есть устав, есть служба. Я больше, чем от себя, от него не требую.

— Устав, устав... Дружба ведь тоже есть. Можно и простить человека.

— Много прощать — дружбу испортишь. А он пока еще и не друг.

Бойков вздохнул — он не любил ссор,— посмотрел на берег. Редкие огоньки в тумане неподвижны, покачиваются только огни барж на воде.

— Чудное место, эти Курилы!— удивился вдруг Бойков.— Здесь начинается земля. А там,— он глянул в океан,— пусто... До самой Америки.

Бойков провел рукой по мокрому, шершавому борту, сказал, поразившись:

— Край земли... Интересно.

В сгустившейся темноте стоят на палубе баржи двое: солдат и мечтатель.

— Чего интересно?— сказал Рахматуллин.— Вода интересно? Холод?

— Ну все равно красиво,— робко возразил Бойков.— Я раньше никогда океана не видел. Люблю на океан смотреть. А ты?

— А я — на часы.

Он поглядел на часы, отогнув рукав, и направился к рубке. Войдя, стер соленые брызги с рукавов, включил рацию. Послушал. Из рации — разряды, треск, размеренный голос произносит:

— Т-42, Т-42, я — берег, я — берег. Подавайте на разгрузку транспортника. Я — берег. Прием.

Рука Рахматуллина переключает рацию на передачу.

— Я — Т-42. По приказу отпустил одного человека на берег. Прием.

— Т-42, подавайте баржу на погрузку.

— Я вас понял. Выхожу.

Рахматуллин застегивает пуговицы у горла. Говорит не в микрофон, сам себе:

— Ошибся. Не того на берег послал...

Тяжелый транспорт, освещенный огнями, раскачивается на волнах. Возле него — баржа. Палуба ее заполнена тюками, ящиками, бочками. Снизу видно: борт парохода то уносится к небу, то летит вниз. Баржа и пароход качаются вразнобой. Сверху на лебедке спускается ящик. Голоса:

— Принимай! Давай помалу! Давай, давай! Стоп!..

Рядом с Рахматуллиным и Фоминым — матросы транспортника. Все работают. На лебедке спускаются мешки. Один лопнул. Картошка рассыпается по палубе. Одна картошина закатывается в щель между бортовой обшивкой и козырьком. Рахматуллин у штурвала — Фомину:

— Фомин! Подобрать все. Завязать мешок!

Фомин недовольно подбирает картошку. Ворчит. В нем жива еще обида на сержанта.

Рахматуллин в стороне заканчивает погрузку. Грохот лебедки, голоса людей заглушают ворчание Фомина. Последние, раскатившиеся по углам и щелям картофелины он подбирает с особой неохотой. Поставил полный мешок в угол. Поднявшись из трюма в рубку, обтирает руки паклей.

Баржу качнуло, и вдруг из-за какой-то доски возле люка выкатилась еще одна картофелина. Обозлясь, Фомин поддал ее сапогом, вложив в этот удар все свое раздражение. Стукнувшись о доски, картофелина исчезла. На всякий случай Фомин оглянулся в сторону сержанта и встретился с ним глазами. Рахматуллин все видел. Фомин угрюмо ждет выговора. Но из люка машинного отделения высунулась всклокоченная голова Бойкова. Он сразу заметил неладное; Рахматуллин видит его. Сержант еще раз глянул на застывшего Фомина и, презрительно сощурясь, прошел мимо.



Он решил не опускаться до мелких придинок. Фомин проводил его долгим взглядом.

А Рахматуллин уже кричит на транспорт:

— Все? Можно отчаливать?

— Людей примите.

— Давай быстро!

По шаткому трапу на палубу баржи начинают спускаться люди: женщина, поддерживаемая матросом, второй матрос, держащий в руках ребенка, которого передает Фомину; вслед за ними — офицер, молоденькая учительница, охотники-алеуты.

Фомин на какое-то мгновение задерживает на руках ребенка. Девочка со скуластым личиком и раскосыми глазами прижимает к подбородку куклу. Девочке — года два.

— Как зовут?— с неловкостью спрашивает Фомин.

Девочка застенчиво отворачивается. Мать берет ее на руки.

— Спасибо.

— Отдай концы!— доносится сверху.

От огромного транспортника отчаливает баржа, ее место занимает вторая.

Подкидываемая волнами, обдаваемая брызгами, баржа идет к берегу. Среди тюков и ящиков стоят лицом к берегу пассажиры — офицер, охотники, женщина с ребенком, девушка с поднятым меховым воротником. Фомин издали потеплевшими глазами смотрит на ребенка, которого он недавно держал на руках.

Девочка прячет лицо на груди у матери. Мать улыбается.

Скалистый берег близко. Внизу под скалами видны причалы, в них бьет волна, разбиваясь в брызги, в водяную пыль. Белые столбы вырастают вдоль всего берега.

И вот уже пассажиры на берегу.

Рука девочки машет. Фомин отрывает руку от штурвала и тоже машет. Баржа уходит, разворачивается.

У дверей рубки Фомин видит забытую девочкой тряпичную куклу. Он быстро поднимает ее. Мать и девочка только улыбаются, машут в ответ, они не могут разглядеть куклу.

Рядом с зажатой книгами бутылкой одеколona сидит на ящике кукла. Ее лицом-чем-то напоминает лицо девочки — разрез глаз раскосый. Спит Фомин лицом к стене, спит Рахматуллин. Кубрик покачивается.

В темноте по палубе прохаживается Бойков. Он на вахте. Останавливается, прислушивается, поспешно подходит к борту. Перегнувшись, вглядывается в темноту. Плеск весел, удар о борт. Внизу, в лодке, у высокого борта стоит Подгорный. Покачивается, подняв лицо.

— Подгорный, ты?— Бойков бросает конец. Над бортом — шапка набекрень — показывается голова Подгорного: мокрое от брызг лицо, мокрые волосы. Весь промок, но веселый и нетвердо держится на ногах. Сперва это непонятно, так как баржу сильно качает, но вот он заговорил, и сразу ясно, что Подгорный выпивши.

— Тыхесенько,— говорит он и, прижав палец к губам, оглядывается, нет ли сержанта. Увидел, что нет, приободрился.

— Солдат службу знает!

Сел, снял сапог, вылил из него воду.

— Думал, не доберусь. Гребет меня волной в океан. Вот!— он показал на себя, мокрого с головы до ног.— То — океан!

И, забыв вылить воду из другого сапога, снял с головы и выжал шапку. Вдруг заговорил:

— Там така дивчина! Медсестра новая в санчасти. Культурная, — и пальцами показывает четверочку.— Не могу, говорю ей, ясонька. Служба. Чуешь, океан задышал. А вона каже: «Почекай хоть трошки...»

Снял другой сапог, сокрушенно вылил из него воду.

— И дома у нее культурно. А я кажу: «Не могу! Вдруг шторм. Як же я на берегу?»

Он уже стоит с сапогом в руках:

— Думал, в океан унесет.

— Ты у Шилова был?— спросил Бойков.

— Был. Скучает. Тэж такой дурний. Радио, казав, осторожней. Лампа там яка-сь.

Вспомнив, достал мокрое письмо, отдает Бойкову:

— На. А Фомину ни-че-го...

С сапогами в руках, бормоча: «Лампа... Забыл, шо за лампа...»—спускается в кубрик. Все спят. Кубрик качается. Подгорный ставит сапоги у своей койки. Они поехали по полу прямо к койке сержанта. Подгорный потянулся было за ними, но, глянув на спящего Рахматуллина, побоялся, вздохнул, прикрывая рот рукой, чтобы не пахло. Баржу снова наклонило, и сапоги поехали вбок, словно не желая попасть к нему. Удивленно бормоча: «Характер выдерживают»,— он тянется за сапогами.

Рахматуллин приоткрыл один глаз. Следит за Подгорным. Взгляд недоуменный и осуждающий. Но как только Подгорный сделал движение, глаз зажмурился. Сержант резко отворачивается к стене, лежит с открытыми глазами. На лице его — горечь. Рушатся все его представления о людях.

А в это время, покачиваясь вместе с кубриком, стоит около тумбочки Подгорный. Он принес подарок Фомину: дощечку и пасту для чистки пуговиц. Кладет все это на тумбочку. И тут увидел куклу. Смотрит на нее, ничего не понимая. Смотрит на Подгорного раскосыми глазами кукла. И вдруг прыгает на него... Удар волны, кубрик со спящими ребятами встает дыбом, падает на пол кукла, книги, подарки Фомину, флакон одеколона. Первым вскакивает с койки Рахматуллин, поднимает голову Фомин. Только Подгорный стоит, упершись в потолок. Новый удар. Подгорного бросает на пол. Вскочил, глаза обалделые: «А?!»

Летит в угол на Подгорного Рахматуллин. С треском распахивается крышка люка, сверху врывается вода; кукла, сапоги Подгорного, книги, дощечка для чистки пуговиц несутся в угол.

В открытый люк — голос Бойкова:

— Рация! Сержант, к рации!

В наспех натянутой гимнастерке Рахматуллин выскакивает в рубку, с трудом пристраивается к рации. Сдержанно-тревожный голос по рации:

— Всем держать связь с берегом! Всем держать связь с берегом!

— Все наверх! — кричит Рахматуллин. — Подгорный — в машинное отделение! Фомин — к штурвалу!

Наверху, над палубой, кипение снега, волны перекатываются через палубу, ревет ветер. Цепляясь за борта, обдаваемые водой, пробираются фигуры солдат. Фомин становится у штурвала.

Рахматуллин возле рации. Ждет ответа.

— Я — Т-42, я — Т-42. Прием...

Рация молчит.

Со стороны темного, растрепанного океана растет огромная стена воды. Баржа рвется с каната. Волна близится, нависает, кажется, что соединяется пенной верхушкой с небом.

Бойков, наблюдавший из рубки, невольно пятится, закрывая за собой дверь. С грохотом обрушивается сверху волна. Взлетает вверх палуба. Рахматуллин выглядывает из рубки. Новая волна. Руки Фомина с усилием крутят штурвал.

А за их спиной не выключенная радиостанция передает:

— Внезапный циклон, с юго-востока. Всем судам в бухте...

С океана новый вал. Стеной воды закрыло все. Баржа словно сделалась меньше. Угольный ящик. Рухнула сверху волна. В кипящей пене смыло за борт последние обломки ящика. Место, где стоял он, — пусто. Фомин и Рахматуллин переглянулись. Рахматуллин отворачивается.

Еще более страшная волна. Баржу рвануло. Лопнул трос.

Обрывок стального троса взвился над бортом.

— Сорвало с бочки! — кричит Бойков.

— Право на борт! — приказывает Рахматуллин Фомину, и в машинное отделение: — Обе полный назад!

Передает по рации:

— Я — Т-42. Лопнул трос. Баржу оторвало от бочки. Будем закрепляться.

Докладывает Рахматуллин. Порядок.

Фомин, оборачиваясь, кричит:

— Гляди!.. Петров!..

Соседняя баржа уже под ними в черном провале волн. И сразу ее возносит вверх, какую-то долю минуты хорошо видно эту баржу, крошечную на огромной волне. Ее несет на скалы.

— Разобьет всмятку!— кричит Фомин и резко поворачивает штурвал. Рахматуллин бросается к иллюминатору, смотрит, едва различая баржу сквозь шторм. Баржу Петрова выносит на плоскую отмель между береговыми скалами. Люди прыгивают с пее.

Рахматуллин толкает штурвал в другую сторону, кричит:

— На берег!

Фомин ошеломленно смотрит на него, нехотя подчиняется.

Огромные океанские волны несут баржу на скалистый берег.

Фомин за штурвалом, глаза его округляются от ужаса.

Темнота и снежная каша впереди. И вдруг из снежной каши перед носом баржи вырастает черная скала, пенное кипение у ее подножия...

— Чертов камень!— кричит Фомин и зажмуривается.

Рахматуллин с искаженным лицом бросается к штурвалу, отшибает от него Фомина, весь подавшись вперед, с остервенением крутит штурвал. Снег и брызги скрывают берег. На лице Рахматуллина ожесточение, руки крутят штурвал. Фомин, припав к иллюминатору, кричит:

— Ничего не видно!

Рахматуллин вдруг вполголоса начинает ругаться по-татарски. Ругается свирепо, яростно, а в лице что-то мальчишеское, неуверенное.

Поселок. Безлюдье. Пустота. Все в летящем снегу. С одного из домов срывает крышу. Ветер. На одной стороне поселка гаснет свет. Окраина поселка. Мутно светится в снегу окно. Трое людей, пригнувшись, борясь с ветром и снегом, идут друг за другом, перебирая руками. И когда они перебирают руками, видно, что они идут вдоль каната. В вое ветра слышен близкий грохот океана.

Комната радиста. Невероятным кажется спокойный свет, неподвижные предметы, блеск аппаратуры, бумаги, разложенные на столе.

Рядом с радистом, сидящим за ключом, солдат — взволнованное лицо, наглухо застегнутая шинель, шапка, надвинутая на брови. Глядя мимо лица радиста, солдат говорит:

— Боюсь, без связи останутся. Откуда же им знать: нужно снять заднюю стенку, лампу сменить. Слышать будут, а ответа не дождешься.

Обождая, солдат просит опять:

— Еще раз вызови. Будь человеком...

Радист склоняется над микрофоном:

— Т-42, Т-42, Т-42, я — берег, я — берег, как вы меня слышите? Отвечайте. Я — берег. Прием!

Стал слышен свист ветра и грохот океана — вваливаются обессиленные, задыхающиеся, замеченные снегом люди. Дышат. По лицам течет растаявший снег и пот.

Солдат встает и вытягивается. Один из вошедших глухим, с хрипотцой голосом обращается к нему:

— Вы кто такой?

— Рядовой Шилов, радист с баржи Т-42.



— Почему на берегу?

— Отдавило ногу на пирсе. Пришел из саачасти. Радиостанция на барже...—
Шилов волнуется.

Человек в меховой одежде опускается на стул, остальные тоже тесно садятся к радиции — в шубах, в шапках.

Сразу на них наваливается хаос эфира: исступленный писк морзянки, обрывки фраз — в мире бушует шторм.

— ...Шторм налетел внезапно... волны смыли часть палубного груза. Повреждены грузовые стрелы, фальшборт.

— ...сорвало и разбило несколько автомашин, закрепленных на палубе...

Писк, писк морзянки.

Рука радиста какого-то корабля отстукивает на ключе.

Рука другого радиста стучит на ключе. Все быстрее, быстрее.

Рот, говорящий в микрофон.

Лица, рты, выстукивающие руки сменяют друг друга.

В эфире звучит:

— ...Сплошные снеговые заряды. Видимость десять метров.

— ...Мимо меня, не отвечая на сигналы, проследовало судно.

— ...Вода заливает машинное отделение.

— ...Разбито рулевое управление.

— ...Шторм захватил в океане. Берег, отвечайте. Берег, отвечайте.

— ...Скорость ветра превышает тридцать метров в секунду. С ним идут пурга, снегопады.

Фразы на английском, японском языках:

— ...Терплю бедствие. Разрешите укрыться в бухте.

— ...Рыбацкая шхуна «Сага Мару»...

В суматошный писк морзянки сначала негромко, отдельными сигналами, но все требовательней, громче, громче, отчаянней врывается «SOS». Он доходит до истощенной ноты: SOS, SOS, SOS.

Комната радистов. Писк морзянки. Сосредоточенные лица. Радист поворачивается к своим товарищам:

— Петров не отвечает.

Радист Шилов с баржи Т-42 с напряженным, страдающим лицом просит:

— Рахматуллина вызовите... Очень прошу вас... Стенку бы заднюю снять... откажет рация...

Один из сидящих приказывает:

— Вызывай Рахматуллина.

— Т-42, Т-42, Т-42. Я — берег, я — берег. Слышите ли вы меня? Слышите ли вы меня? Я — берег. Прием.

Минута тяжелой тишины. На лицах сидящих за столом напряженное внимание, все следят за радистом. Внезапно на утомленном лице Шилова счастливая улыбка.

Слышен ответ баржи Рахматуллина:

— Я — Т-42, я — Т-42, слышу вас. Моторы работают. Видели, как разбило баржу Петрова...— Звук медленно глохнет.

На лице Шилова минутная радость сменяется напряженной тревогой.

— Не слышат!— Рахматуллин с сердцем вешает на крюк наушники.

В переднее окно рубки бьет волна. Окно обледенело. Обледенели стены рубки, борта баржи, канаты. У штурвала Фомин, лицо осунувшееся, на щеке запекшаяся кровь. Обе двери рубки распахнуты, в рубку влетают брызги. С одной стороны выглядывает Бойков, с другой Рахматуллин, только что оставивший рацию. Они сквозь снег, брызги вглядываются в бушующий океан, командуют:

— Право возьми. Прав-о! Камни! — стараясь перекричать грохот волн, надывается Рахматуллин.

— Слева тоже скалы!— кричит Бойков.

Фомин у штурвала едва поспевает за командами.

— Левая, самый полный! Правая, назад!

— Есть, левая, самый полный, правая, назад!— повторяет Фомин.

Диск машинного телеграфа. В него ладонью упирается рука с отставленным пальцем. В этом грохоте, когда его бросает от борта к борту, Подгорный не успевает следить за командами, он держится руками за диски телеграфа, и стрелки, перемещаясь, ударяют его по пальцам.

Прыгнув на «Самый полный», стрелка ударила Подгорного по пальцу. Он мгновенно оглянулся, перевел рычаг двигателя. А уже на другом диске стрелка телеграфа, ударяя по пальцу, требует внимания к себе.

Он один в машинном отделении. Здесь удары волн глуше, тревожней. Пол то встает дыбом, то проваливается. По полу катается рассыпанная картошка. Потный, перепачканный мазутом, оскалив на черном лице белые зубы, мечется между моторами Подгорный. Левый мотор чихнул и стал глохнуть...

А снаружи вся рубка обледенела. Обдавая шквалами брызг и снега, ее бросает то вниз, то вверх. С обоих боков ее открытые двери. В них глядят Бойков и Рахматуллин. Полуослепшие, мокрые, они что-то кричат, но сквозь рев шторма ничего не слышно. Переднее окно рубки наполовину заросло льдом, сквозь него едва различимы глаза и руки Фомина.

— Право руля! Держи к берегу! — кричит Рахматуллин.

— Есть право руля! — вторит Фомин. Но команда не выполняется. — В машинном! — кричит он в переговорную трубу. — Правая, полный! Заснул? Правая, полный!

Но и правый мотор уже глохнет. Подгорный, вцепившись в рукоятки, переводит рычаги.

А сверху — тревожней, тревожней, тревожней, громче:

— Правая, полный вперед!..

Подгорный с усилием хрипит в переговорную трубу:

— Горючее кончилось!..

Штормовые волны несут баржу от берега в открытый океан. Теперь она уже бессильна сопротивляться: горючее кончилось.

На мокром с обмерзшими бровями лице Рахматуллина — растерянность. Бойков отворачивается от иллюминатора:

— Несет!..

Вцепившись в штурвал, Фомин и Рахматуллин смотрят друг на друга. Доносится из наушников голос берега:

— Т-42, Т-42, отвечайте! Отвечайте!..

Брызги обдают рубку, баржа ныряет в волнах. Она отдаляется, уходит во тьму, и на меркнувшем экране — затухающий голос радиста:

— Т-42, Т-42, Т-42... Отвечайте... Отвечайте... Отвечайте...

Человек в обмерзшем племе. Видны одни глаза. Они напряженно вглядываются сквозь метель. Человек опустил бинокль, двинулся вперед. За ним — отряд лыжников. Каждый следующий внезапно возникает из пурги. На всех спасательные пояса, бинокли, ракетницы.

Медленно, преодолевая напор ветра, они движутся след в след по скалистому берегу. Спина впереди идущего то возникает, то исчезает в снежной мгле.

Лица, упрятанные в обмерзшие подшлемники, похожие одно на другое. Внизу, невидимый отсюда, ревет океан.

Передний лыжник двинулся вперед, и пурга поглотила его.

Ветер метет, обнажая скалы. Выдвигается другой, залепленный снегом лыжник. Сорванный ветром, едва уловимый крик снизу. Лыжник не слышит его, делает шаг. Опять крик снизу, где океан, и — задушенный снегом свет ракеты. Лыжник остановился, вглядывается. Еще одна фигура лыжника рядом. Вслушиваются. Вглядываются. Рев океана — и опять в снежной мгле слабое свечение ракеты.

— Веревку! — приказывает второй лыжник. Обвязавшись, сняв лыжи, начинает спускаться и сразу же исчезает. Подошедшие лыжники держат веревку. Натянутая, она дрожит на камне.

Берег. Накатываются волны, бросают на камни доску и снова уносят ее в океан. Мрачно чернеет скала — Чертов камень. Тот лыжник, что сорвался, стоит у берега среди камней, нагнувшись над каким-то предметом. Он примерз. Лыжник бьет его ногой. Поднял. Разглядывает. Это спасательный круг. Руки соскребают снег. Лыжник вглядывается: «Т-42». Рядом возникает другой лыжник. Он молча показывает ему пробковый пояс и цифры на нем. Оба смотрят в океан. Волна выбрасывает доску. Один из лыжников бросается к ней.

Наверху у края обрыва сгрудившиеся лыжники рассматривают доску и пробковый пояс. На них — «Т-42».

— Где искать дальше?

— Дальше — океан...

Эта же доска, этот же спасательный круг, уже обтаявшие и высохшие, лежат на столе. Трое офицеров в комнате радиостанции поселка. Двое наклонились над картой. Они в кителях — моряк и пехотинец. Третий сидит с краю, локтем опершись на шапку, лицо усталое, потное, волосы прилипли ко лбу, полупубок расстегнут.

— Т-42, Т-42, отвечайте. Я — берег!..

Голос утомленный, охрипший, в нем уже нет надежды. Приемник молчит. Радист опять переключает на передачу:

— Т-42, Т-42, Т-42, почему не отвечаете? Я — берег, я — берег!..

Все ждут. Радист поворачивает к ним лицо. Все молчат.

Моряк:

— Четвертые сутки...

Человек в полупубке говорит:

— Свяжитесь с «Кузбассом».

В тумане, включив сигнальные огни, завывая сиреной, проходит теплоход «Кузбасс». И по мере того как он проходит и скрывается в тумане, вначале громкий, постепенно отдаляющийся голос радиста:

— Я—теплоход «Кузбасс». По вашему приказу обследовал квадрат сорок пять — двенадцать. Баржи Т-42 не обнаружено. Видимость десять метров.

Туман. Приближающийся гул мотора. Прижимаясь к океану, неясным силуэтом пролетает самолет. Исчезает. Гул отдаляется.

Аэродром. В тумане стоящие самолеты. Приземляется еще один самолет. Кончают работать винты. К самолету бежит человек. Из кабины вылезает летчик, неуклюжий в своем зимнем обмундировании, в унтах. На немой вопрос человека молча отрицательно качает головой.

Туман над океаном. В редких просветах — черная, мрачная вода.

Спасательный круг и кусок доски с надписью: «Т-42» — на длинном столе. В окне — крыши больших домов. Город. Вокруг стола трое военных и человек в штатском. Поворачиваются к карте, развешанной на стене. Карта океана. Военный в морской форме обводит на карте участок:

— Диаметр шторма превысил три тысячи километров. Тридцать лет не было такого. Их вынести должно примерно сюда.

— Курсыво. Мертвое течение...

Человек в штатском:

— В нем не живет ни одна рыба.

Все молча глядят на карту.

— Океан... — что они в нем — соринка.



Карта океана. Огромный пустынный простор воды, обрамленный с краев сушей и россыпью островов. Громко звучит тревожный хаос эфира.

С высоты нескольких километров — беспредельный океан, кое-где над ним легкие облака. Водный простор без конца. Среди океана почти неприметная соринка. Медленно, медленно снижаемся на нее, она приближается, растет. Ближе, ближе, ясней очертания, можно уже различить контуры баржи. И пока мы спускаемся, постепенно затихает трепетный голос радиоэфира, гложет шум поисков, тревога морзянки... Только мерный плеск волн, дыхание затихшего океана... Еще ниже...

Палуба Т-42. На ней следы разрушений. Никого нет. Мертвая тишина. Горькие сгоны чаек над волнами.

И вдруг тишину разрывает громкий хохот. Так смеяться могут только очень молодые, здоровые люди, после страшного испытания оставшиеся в живых. И мы видим в рубке смеющиеся лица Бойкова, Фомина, Подгорного. Небритые, осунувшиеся молодые лица.

— А ты-то, ты!.. — кричит Фомину Бойков.

— Ладно тебе! — весело отмахивается Фомин. — Попробовал бы сам. «Лево!..» «Право!..» Орут с двух сторон. Сам-то хорош был. Вся рожа в солярке.

— Это у него в солярке, — смеясь, Бойков показывает на Подгорного.

Рахматуллин поднял руку:

— Тихо!

Из всех он один собран, серьезен, стоит с надетыми наушниками у включенной радиостанции. Ребята немного притихли, хихикают, как школьники за спиной учителя. Перед ними — бачок с недоеденной картошкой, валяются ложки.

Рахматуллин говорит в микрофон устало и, видно, уже не в первый раз:

— Берег, берег, я — Т-42. Мы в океане. Нас несет в неизвестном направлении. Карты нет. Ориентироваться нельзя. Вас плохо слышно. Прием.

Наступает короткое молчание.

— Сержант, та хай воно скажется то радио, — добродушно говорит Подгорный.

— Я ж казав: якась лампа. Почекай трошки, найдут нас. Такой шторм был, живы остались. Теперь уже не пропадем.

Бойков усмехнулся.

— Это у нас вроде внеочередной отпуск.

— Не отпуск,— поправил Фомин,— а по уставу — самовольная отлучка. Не бывал еще? Тогда поздравляю с боевым крещением.

— Считай, як вернешься на берег, зараз же пидешь до губы,— обрадовал Подгорный.

— Все пойдем!

— Во главе с сержантом!— подхватил Фомин не без ехидства.

И новый взрыв хохота.

Рахматуллин только глянул строго, поправил наушники. В них — отдаленный огромным расстоянием голос радиста:

— Т-42, Т-42! Почему не отвечаете? Почему не отвечаете? Даю настройку: раз, два, три, четыре... Четыре, три, два, один...

Минута молчания. Рахматуллин устало снимает наушники:

— Подгорный, давай все продукты.

И что-то такое необычное было у него сейчас в лице, в голосе, что все почувствовали серьезность положения. Только Подгорный пожал плечами.

Люк на полу рубки. На него ставятся продукты. Их ставит Подгорный.

Начатая, размокшая буханка хлеба. Непочатая банка тушонки и другая банка, уже открытая. Банка с жиром. Подгорный поставил ее, заглянул, вылил из банки воду и снова поставил на люк. Крупа в замусоленном тощем мешочке. Мешочек велик для этого количества крупы. Измокшая пачка кофе. Пачка чая. Картошка в ведре. Нагорный признался с легкой беспечностью:

— А соль размыло...

Фомин сострил без улыбки:

— Оно и видно океан-то посолонел...

— Да ну што там соль! Продукт тоже. Без нее покрутимся!— машет рукой Подгорный.

И вот они, все продукты, перед Рахматуллиным. Размокшие, в солярке — они умещаются на крышке люка.

Четверо молодых парней, а кругом океан, и впереди — неизвестность. Рахматулину трудно. По его понятиям, у него, командира, должно быть готовое решение, а он беспомощен.

— Сколько картошки?— спросил Рахматуллин, не очень уверенный, что именно это надо сейчас говорить.— Высыпь ее.

Подгорный, взяв за дужку ведро, взвесил его на руке, как на безмене, потом осторожно высыпает картошку на крышку люка. И все поддерживают раскатившуюся от качки картошку, сгребают ее в кучу. Она в солярке. Подгорный начинает проворно, весело и хозяйственно перетирать ее.

— Богаты...— говорит Фомин.

— Як та церковна крыса,— вздохнул Подгорный, склонный к тихому юмору.

Рахматуллин начинает раскладывать картошку на кучки. Точного решения еще нет. Он кладет одну, вторую кучку по пять картофелин. Подумав, отнимает по одной

картофелине. Кладет теперь кучки по четыре картофелины. Бойков вопросительно, непонимающе оглянулся на всех. Все смотрят внимательно на картофелины. Рахматуллин вдруг отодвинул к краю люка все продукты. Решение созрело. Он заново раскладывает картошку, теперь уже по три штуки в кучке. Вышло восемь кучек. В одной четыре картофелины.

Рахматуллин смотрит на всех:

— Какое сегодня число?

Бойков быстро:

— Двадцать первое.

Рахматуллин:

— Двадцать первое января.

Рахматуллин накрыл рукой первую кучку картошки:

— Двадцать второе января

И — Бойкову:

— Вынь уголек из печки.

Той же рукой, которой он только что накрывал картошку, пишет на стене кубрика: «22». Оглянулся, сделал жест Подгорному. Тот рукой, торопливо будто это игра, смахнул кучку картошки в ведро. Звук упавшей в ведро картошки. Рахматуллин пишет на стене углем: «23». Звук упавшей в ведро картошки. «24». Звук упавшей в ведро картошки. Так он пишет углем на стене все восемь дней: «25, 26, 27, 28, 29». И каждую цифру сопровождает звук упавшей в ведро картошки, становясь постепенно все глуше, глуше, как бы отдаляясь в глубину времени. И этот звук рождает тревогу. Лица троих. Непокойное раздумье. Рахматуллин говорит:

— Можем продержаться восемь суток:

И тут, оглядев всех, широко улыбнулся Подгорный с ведром в руке.

— С запасом живем. Да нас за восемь суток пять раз найдут!

А на лице Бойкова впервые осознание всего, что ждет их. Он растерян:

— Восемь суток... Неужели восемь?

Ф о м и н. Володя, запомни: через два дня будем дома.— И к Рахматуллину самоуверенно:— У меня чутье, сержант!

Рахматуллин живо обернулся.

— Чутье?— Голос был резкий, глаза зло блеснули.— Что нам за это за все,— он пальцем нервно указывал на баржу, на океан,— за это что нам полагается, чутье молчит?

— За чтой-то, за это?— глаза у Фомина смотрят недобро.

— А правда, сержант,— вмешался Бойков.— Ну, шторм был. Ну, унесло нас. Мы-то в чем виноватые? Этот шторм, может, сотню кораблей раскидал...

— Мы на барже служим!— резко прервал Рахматуллин.— Она не твоя. Не моя. Воинское имущество! Мы за него отвечаем. А нас оторвало. Унесло в океан. Петров на берег выбросился. Правильно действовал. А мы не смогли...

Бойков хотел что-то сказать, но Рахматуллин не дал:

— Не передо мной, ты перед совестью своей оправдайся!

И Бойков виновато сник.

— Э-э, Закир, об чем разговор?— Это сказал Фомин, сказал с таким неожиданным добродушием, что просто невозможно было сердиться на него.— Ну, виноваты.

Виноваты! Никто ж ничего не говорит. Любое наказание приму. Без звука. Дай только ногой на берег ступить.

Ребята невольно заулыбались. Рахматуллин, недовольный собой, потому что не смог сдержаться, сказал суховато:

— Начать приборку. Просушить все!

И вышел. А Фомин достал гармонь, сел на ящик, на чью-то мокрую телогрейку. Развел меха. При первом же звуке гармони лицо его повеселело. Оглядел всех, выждал паузу и заиграл что-то легкомысленно-веселое. Бойков почтительно вытягивает из-под него мокрую телогрейку. Фомин не перестает играть, только чуть-чуть приподымается. Он играет, а над головой его — написанные углем цифры.

Подгорный проходит по рубке, под мышкой швабра. Подмигнул Фомину:

— Хитер монтер! Дай ему ногой на берег ступить!..

Уборка проходит в нервном оживлении. Бойков выскакивает с мокрым матрацем, но возвращается, теперь только сообразив:

— А корабли! Первый же нас подберет! Что вы!— и улыбается...

— Закон!— Фомин, подмигнув ему, играет. Камера подымается медленно над ним — цифры на стене, написанные углем. Звук гармошки становится глуше. К цифрам протягивается рука, перечеркивает углем первую цифру «22». Еще глуше звук гармошки. Снова протягивается рука, снова перечеркивает цифру. Еле слышен звук гармошки. Третий раз тянется рука. Стена качнулась, но рука упрямо тянется к цифрам. Она не успевает сделать крест на цифре. Звук гармошки, и без того еле слышный, обрывается, раздается ликующий крик:

— Корабль!!

Рахматуллин с углем в руке бросается к выходу. За ним срывается Бойков, кричит по-мальчишески: «Корабль!!», на ходу смахивает со стены рукой написанные цифры.

— Корабль!!

Сильное волнение. Из-за высоких волн вдаль, то пропадая из поля зрения, то вновь появляясь, — огни далекого судна. Фомин лихорадочно прикручивает ветошь к багру. На взлетающей на волнах палубе Подгорный сигналил фонарем. Он смеется, говорит захлеб: «Я ж казав, казав, найдут!». Рахматуллин подлетает к нему, отбирает фонарь, сам начинает сигналить. Вздывается вверх зажженная на конце багра ветошь. Пляшущие огни, размахивающие руками фигуры, крики, летящие навстречу вздымающимся волнам. Кричат все трое, смеется Подгорный, подпрыгивая на палубе:

— Сю-да!! Э-эй!! К на-ам! На но-омощь!! Сю-да!! Мы зде-есь!

Минута тишины, лишь ревет океан. И кажется, что далекие огни корабля сместились, приближаются, но-прежнему то утопая в подымающихся волнах, то загораюсь ярче прежнего.

Крики на барже, восторженные, ликующие:

— Заметили! Ура-а!! Заметили! По-во-рачивает!!

Величественный, сияющий огнями, с музыкой на палубе, распространяющий свет, уверенность и тепло, океанский пароход медленно поворачивает, но... в другую сторону.

А на неосвещенной, мокрой, холодной палубе крошечной баржи четверо людей, над их головами затухающий факел. С него падают искры.

— Куда же он?— растерянно говорит Бойков.

— Да слепой он, что ли?— Подгорный уже не смеется. На лице — непонимание. И с новой силой крики:

— Сюда!! Мы zde-есь!! Сю-да!!

Вместо прежнего ликования — отчаяние, неуверенный вопль о помощи.

Рвутся громадные волны, среди их грохота комариным писком звучат голоса людей. Новая волна стирает крик.

Сверху вниз гаснет свет на лицах — упала пакля, шипит, гаснет на мокрой палубе.

Стена кубрика, стертые цифры. Рука пишет новые: «25», «26», «27», «28».

После того, как пишется новая цифра, слышен звук падающей в ведро картошки. Он более тонкий, чем в первый раз.

Моторы летящего самолета. Пилот в кабине. Сверху он зорко вглядывается в океан.

Большой пароход в море. Вертятся радиолокаторы.

Пульт управления локатором. Оператор всматривается в экран.

Низко над горизонтом, над водой солнце.

Все четверо на корме баржи. Фомин тихо играет на гармонии. Бойков развешивает на леерах сырое одеяло. Неловко нагнулся — слетела с головы шапка, упала за корму в волны.

— Ах, ты!— с досадой вскрикнул Бойков и виновато оглянулся на Рахматуллина. Грустно усмехаясь, сержант смотрит вниз на шапку за кормой. Ее подкидывает волной, она медленно отстает от баржи, но не тонет. За ней вспыхивает на воде бликами солнечная дорога.

— Смотри, не тонет,— удивленно говорит Бойков.

— До дому поплыла,— сказал Подгорный.— В Советский Союз.

Бойков пристально следит за шапкой:

— А далеко нас угнало.

— Та вже мабуть за три Японії. Хочь бы нашим передать, щоб не зря искали.

Рахматуллин молча смотрит за корму. Близко к горизонту солнце. Солнечная дорожка на воде. А на этой дорожке среди волн — шапка — удаляющаяся черная точка.

— И что там сейчас лейтенант Абрамов думает... — грустно говорит Рахматуллин.

— И Толька Шилов,— вздохнул Бойков.— Один из всех нас остался на берегу.

— Домой как бы не сообщили,— тревожно сказал Фомин.

Он сидит в дверях рубки и видит, как за тремя фигурками на корме садится в океан солнце. Красноватая дорога протянулась от солнца до самой баржи.

— Отак бы стал и пишов, пишов по цей тропочке,— говорит Подгорный,— до самой хаты.

Шапка со звездой плывет среди волн, плывет навстречу солнцу. Садится за воду огромное солнце.

— А в отряде сейчас ужин,— говорит Бойков.— Потом кино будет. Пошел бы в кино, а, Петро?

— Ни. Я — в санчасть.

Но шутка звучит грустно.

— Ничего, хлопцы,— говорит Фомин.— Будут еще корабли!

И чуть сильнее трогает гармонь. А над ним, на стене — углем: «28», «29», «30», «31». И все они уже зачеркнуты. Все тише, тише музыка. Рука Подгорного осторожно, с хозяйской бережливостью берет с крышки люка и кладет в ведро последних две кучки картошки. В каждой из них всего по две штуки.

Кабинет в городе. Та же карта океана на длинном столе. Люди у карты. А возле окна пожилая машинистка печатает. Она передвинула каретку. Не поднимая головы, тихо спросила:

— Не рано ли?

Молчание. Один из военных подошел, остановился около машинистки, глядя в окно:

— Семнадцатые сутки... А продуктов было на два дня.

— Неполных...— добавил кто-то. И пишущая машинка застучала.

Глядя в окно на далекий, беспокойный океан, военный сказал:

— Только чайки залетают на тысячу миль и возвращаются... «Чайки вились у них за кормой, чайки вернулись домой...»

Чайки. Они носятся над океаном. Садятся на волны. Небо, океан и чайки. Крик их над пустыней океана печален. Среди этих криков возникает негромкий, вначале непонятный стук: это стучит пишущая машинка.

Четверо человек смотрят на чаек. Они с усилием держатся на ногах, схватившись за борта баржи. Глаза их глубоко запали, щеки ввалились, щетинистые бороды, во взглядах голод.

Громче стучит машинка.

Четверо стоят в молчании. Близо, но недосыгаемо для них взлетают чайки. Крупные лица четверых, на них отчетливо видны все семнадцать суток. Первым — лицо Фомина.

На его фоне — громко стучащая машинка.

«Ваш муж и сын при исполнении служебных обязанностей...»

Стучит машинка. За ней вторым планом проходят лица Бойкова, Подгорного, Рахматуллина.

«Ваш сын при исполнении служебных обязанностей, в борьбе со стихией, пропал без вести...»



Машинка стучит слабее, наконец стихает. Стоящие на палубе люди разглядывают чаек.

Фомин говорит:

— Ружьишко бы...

— На палубу не садятся, понимают.— И Подгорный смотрит на свои руки.

В это время чайки садятся на леер. Подгорный, странно пригнув голову, весь собравшись в комок, сделал мягкое, едва заметное движение в сторону чаек. И в то же мгновение к чайкам хищно бросается Фомин. Споткнувшись обо что-то, упал. Чайки с криком взлетели.

— Всё один, всё сам лезешь! Ты зачем всё испортил?— В голосе Подгорного и злость, и слезы бессилия.

Фомин медленно подымается, хватаясь за леера. Оглянулся злыми глазами:

— Не с твоей ловкостью чаек ловить. Понял?

Испуганно следит за вспыхнувшей ссорой Бойков. Оглянулся на сержанта. Лицо Рахматуллина озабочено. Глазами ответил Бойкову, как бы говоря: «Сам видишь».

Чувствуя осуждение всех, Фомин угрюмо отвернулся, смотрит на волны. Он стоит спиной ко всем. Смотрит на него Рахматуллин, смотрит Бойков.

Две картофелины на гладкой поверхности люка. Нож мелко режет их. Руки Фомина осторожно придерживают картофелины. Над ними склоненное хмурое, обросшее лицо. Голодный взгляд. Собрав нарезанный картофель, Фомин ссыпает его в кипящий бачок. Бойков и Подгорный, сидящие здесь же, стараются не глядеть.

Фомин подкинул в печь кусок автопокрышки — кранца. Вода кипит в бачке, нар подымает крышку. Глаза то Подгорного, то Бойкова тянутся к бачку, ноздри их нервно вздрагивают. В рубку с палубы вошел Рахматуллин, прикрыл за собой дверь.

Фомин стоит возле бачка. Открыл крышку. Помешал ложкой. Из бачка поднялся пар. Фомин отклонил лицо. Ноздри у него раздуваются. Вдыхая запах пищи, Фомин все медленней и медленней мешал ложкой. Сглотнул, на мгновение закрыл глаза. И будто сразу очнулся.

Угловато вынул ложку из бачка. Медленным движением потянулся к банке с жиром. Поднял ложку — какое-то незаметное произвольное движение, будто хотел поднести ложку ко рту. Сжав губы, сбросил с кончика ложки жир в бачок. Лоб Фомина покрылся испариной. Постоял неподвижно, глядя, как масляный круг расходится по воде. Опять трудно сглотнул.

А все остальные стоят и сидят в рубке, стараясь не глядеть на бачок, на Фомина. Ждут.

Рахматуллин открывает ларь, вынимает банку, заглядывает в нее — пуста, вторая — пуста, третья — пуста. Банки от консервов, жира, крупы. Зачем-то ставит их на место. В большом ведре, стоящем в ларе, только четыре картофелины. Рахматуллин захлопывает ларь.

— Завтра готовить не будем... Тут по одной картофелине... — Помолчал. — Через день... — Трое товарищей за спиной молчат, он повернулся. — Лежать больше надо — силы экономить.



Фомин неожиданно, сдавленным голосом:

— Закир, не могу я...

Рахматуллин подходит, молча смотрит на бачок.

— Не могу я, слышь, Закир,— не говорит, а зло выдыхает из себя Фомин, глядя в бачок. — Не могу я готовить. Не умею...

Рахматуллин поднял голову, смотрит на изменившееся лицо Фомина. Все понял.

— Тебе верят все, Коля,— тихо произносит Рахматуллин.

— Не могу,— лихорадочно повторяет Фомин. — Не могу, понимаешь?.. Не могу...

Подгорный и Бойков выходят.

Рахматуллин пристально, сожалеюще глядит на Фомина. Говорит вполголоса:

— Иди,— и берет у него ложку.

Кубрик, все четверо лежат на койках. В кубрике холодно, ребята навалили на себя одеяла, бушлаты. Все лежат, не двигаясь, один лишь Подгорный с усилием и старанием режет ножом консервную банку. Бойков говорит как бы про себя:

— Здесь хоть на так... едой пахнет...

— Блесну вырежу, крюк согну — рыбку попробуем ловить. Тут большие водятся. У нас один дядько сома поймал, положил на грузовик, хвост по пыли стебает. — Оглядел всех. Ребята молчат. — Честное слово. Погрузил на телегу... — Подгорный подул на замерзшие руки. — Продирает, братцы... Огонек бы раздуть...

Фомин резковато:

— Книгами!

Бойков, как бы защищаясь:

— И так уж все стопили. Одна осталась. — Из-за книги — Джек Лондон «Мартин Иден» — просительное лицо Бойкова. — Библиотечная... Вот, смотрите, — показывает штамп воинской библиотеки. — Вернуть ведь надо... За баржей записана.

Фомин тем же резковатым тоном:

— Над книгами трясешься? Топи гармошкой! Мне не жалко!

— А ну, давай сюда! — Подгорный с хитрым лицом тянется к гармонии. — Я ее разделаю.

— Не тронь,— раздраженно говорит Фомин.

Долгое молчание. Потом Фомин, будто злясь на самого себя, произносит:

— Лежи, накапливай энергию, равняй шею с гвоздем. Ночь бы скорей. Во сне жрать не так хочется.

Выпростал руку из-под одеяла, рассеянно, как человек, которого томит время, посмотрел на часы, потом удивленно — на иллюминатор; там — полный день.

— Вот черт,— сказал с тоской. — Стоят. — И непонимающе: — Вода, что ли, попала?

Растегнул ремешок, снял часы с запястья. Завел. Послушал и с досадой поморщился.

— Новые часы были. С недельным заводом. Хана!

Подгорный перестал работать. Отложил нож, полувырезанную блесну из куска консервной жести. Потом осторожно вытер большие рабочие руки о штаны, вытер еще об одеяло. Попросил несмело:

— Дай подывлюсь на цей механизм.

— Подывиться... Это тебе не трактор. В твоих ручнищах они только пискнут! — с сердцем сказал Фомин и потряс часы перед ухом.

Бойков со своей койки, книга под щекой, задумчиво наблюдал то за Подгорным, то за Фоминым. Сказал тихо, миролюбиво:

— Дай, Коля, может, правда, починит.

— На, ломай!— Фомин небрежно бросил часы на койку Подгорному.—Допусти тебя — и в душу с отверткой залезешь!

Подгорный бережно берет часы, улыбается, взвешивает их на широкой ладони рассматривает, ласково бормоча:

— Та зачем же ломать. Я — тихэсенько. Как тую пушинку.

Поворачивается на живот, сделал в подушке вмятину, положил в нее часы, ножом открыл механизм, долго с застывшим любопытством мальчишки смотрел на мертвые колесики, вздохнул, оглянулся на Фомина и Бойкова, потер подбородок и полез в нежнейший механизм. Засопел.

Бойков даже помигал, прижмурился от этой смелости.

Фомин выкатил глаза.

— А колуном нельзя? Ты колуном, колуном покрути.

Подгорный весь в работе, лоб напряженно наморщен. Дрыгнул ногой под одеялом: мол, не мешай! Переведя дыхание, осторожно кончиком ножа тронул волосок, маятник вздрогнул и закачался: тик-так, тик-так... Подгорный с замершим выражением, держа ножик на весу, слушал ход. «Тик-так, тик-так...» И широкое потное лицо расплылось в широчайшей улыбке. Но, заметив взгляды товарищей, Подгорный принял независимое выражение.

— Сколько на твоих, Витя?— спросил он так, словно чинить часы было для него обычным делом.

— Тринадцать десять,— сказал Бойков.

Крупными пальцами, которые, казалось, совершенно не приспособлены для мелкой и точной работы, Подгорный перевел стрелки. Как и полагается уважающему себя мастеру, он сдавал работу так, что после него оставалось только взять и надеть часы на руку. А сам говорил в это время:

— Теперь — ломай... Тебе, Коля, жизнь легко давалась. А я сколько работав, работав, а часы соби не купив.

И, вздохнув, с двойным сожалением отдал часы.

— Теперь як попеньки... Береги. То — механизм...

Словно не веря себе, Фомин смотрел на ожившие часики: по циферблату, вздрагивая, бежала секундная стрелка. Послушал ход.

— Ну, мастер-пепко!— говорит он, застегивая ремешок на запястье.

А Подгорный после удачно законченной работы не может лежать. Его распирает радость. Сполз с койки. Потрогал печь. Подвигался возле нее. Полез наверх. Толкает люк.

Рахматуллин в рубке. Стоит возле рации. Шевелится спина. Рахматуллин что-то делает. А на печке бурлит бачок.

Треск в эфире. Возникает — как вспышка — слабая музыка. Джаз. Женский голос хриловато поет на английском языке. Синкопы. Треск в эфире. Будто отдаленный тысячами миль — спокойный мужской голос размеренно говорит по-японски. Потрескивание. Разряды. Тишина. В ней — шорох далеких расстояний. Рахматуллин крутит настройку приемника.

За спиной — скрип люка. Рахматуллин оборачивается. Наполовину высунувшись из люка — Подгорный. Ему надо поделиться радостью.

— А часы-то, а?... Идут,— с хвастливым, блаженнейшим добродушием и в то же время негромко, чтоб не помешать занятиям сержанта, говорит он.

— Что?— не поняв, хмурится Рахматуллин, поглощенный работой.

— Часы, говорю... Фомина часы... Пошли,— сообщает Подгорный с мягкой хитрецей и возбуждением. Улыбаясь, влез в рубку, показывает нож.

— Вот этим ножом починил.

И со скромной гордостью развел руками, как бы сам удивляясь.

— Какие часы?—Рахматуллин все еще не понимает, о чем это он. Потом—другим тоном, хмуровато:— Ты бы рацию починил.

— Рацию?

Подгорный мягкими шагами обошел рацию с одной стороны. Обошел с другой. Посмотрел. Пощупал. Еще раз обошел. Опять пощупал, словно пробовал на крепость. Рукой, в которой нож, потер подбородок. Подумал.

— Посмотри, Петро. Нужно очень,— с надеждой проговорил Рахматуллин. И вышел из рубки.

Пустотой отсвечивала свинцовая вода внизу. Легкий плеск волны. Поднял глаза—и вдруг в лице неверие, радость, глаза расширились. Лицо исказилось мгновенной судорогой. Всем корпусом подался вперед. Леера уперлись в грудь и будто оттолкнули назад. Открыл рот, готовый крикнуть.

Очень далеко на горизонте, дымя, расстилая дым по окраине океана, уверенно шел своим курсом еле видимый пароход, похожий на короткую линейку.

Пальцы Рахматуллина поползли по леерам, судорожно сжали перила. Оглянулся на рубку. На пароход. Снова на рубку. Там в окне была видна склоненная над рацией голова Подгорного.

Рахматуллин сделал движение к рубке. Шаг. Еще шаг. И спиной загородил окно. Голос Подгорного:

— Сержант, свет застишь.

Молчание. Каменная спина перед окном. Плечи опускаются. Спина сутулится. С мучительным напряжением глядя на океан, поднял руку. Со лба провел ладонью по лицу, и, когда опустил ладонь и открыл глаза, лицо медленно погасло.

Пароход исчез. Канул за горизонтом, только дым слабым туманом висел на краю океана.

—Закир! — снова голос Подгорного.

Рахматуллин будто очнулся. Взгляд на дым по горизонту, на рубку. И, боясь, что выйдет Подгорный, быстро вошел сам. И — сдерживая голос:

— Ну? Как?

— Та бис його знае,— обескураженно развел руками Подгорный.— Совсем друга механика!.. Лампочки. И надо ж было тому Шилу ногу разбить!

— Ладно. Оставь. Обедать будем,— тяжело и поспешно сказал Рахматуллин.

С бачка снята крышка... Пар подымается...

Два лица в этом паре склонились над бачком — Бойкова и Фомина. Сквозь сдержанность чувствуется нетерпение. Подгорный и Рахматуллин в ожидании переглянулись. И Рахматуллин чувствует, что все ждут его, как старшего. Он медленно опу-

скает ложку в бачок, медленно подносит к губам, глотает... И только по глазам видно, что значит для него глоток горячего. А в бачок тут же опускается ложка Подгорного. И еще — поочередно — две ложки. Четверо едят — и все внимание, все силы сейчас отданы одному — пище. Слишком много она для них значит.

Рахматуллин, продолжая есть, обводит глазами друзей, внимание задерживается на Подгорном. Тот по-прежнему сосредоточен на бачке и ложке, в его глазах только ощущение собственного голода, и вдруг Подгорный бросил взгляд на Фомина — взгляд быстрый, презрительный.

Рахматуллин долго смотрит на Подгорного, чуть-чуть шевелит головой, привлекая его внимание. Подгорный почувствовал взгляд сержанта, косит на него глазом — и как бы просыпается. Он ест уже спокойнее. Он уже ощущает не только себя, но и товарищей. И Рахматуллин доволен, но лицо его сразу становится строгим, когда он переводит глаза на Фомина.

Фомин, от которого тоже не скрылось все, что произошло между Подгорным и Рахматуллиным, встречает взгляд сержанта настороженно, со скрытым вызовом. И его рука с ложкой чуть медлит опуститься в бачок. И сидящий рядом Бойков ждет...

Это длится лишь мгновение — Фомин спохватывается, погружает ложку в бачок и уже не подымает смущенных глаз.

Что-то потеплело в лице Рахматуллина.

Быстро пустеет бачок. Стучат ложки.

Переворачивается страница судового журнала. Истощенная рука медленно, с остановками, неровным, срывающимся почерком пишет:

15 февраля. Три дня назад мы сварили последнюю картофелину. Спустили воду из системы охлаждения. Пьем по четыре глотка в день...

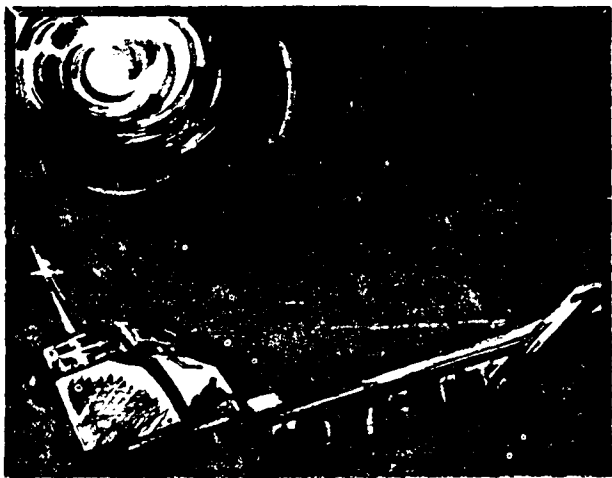
В кубрике возится Фомин, выбрасывает вещи: летят на койку брюки, гимнастерка, узелок, из которого вываливаются хромовые сапоги. Фомин сердито роется в карманах, выворачивает их наизнанку. Подгорный, сидя на койке напротив, следит за ним. Спросил:

— Ты чего?

— Чего? Курить хочу! — кричит Фомин. Отшвырнув в сторону хромовые сапоги, сидит на койке, сгорбившись. — Ни черта нет. Ни крошки.

Подгорный подобрал с полу упавший сапог, рассматривает его вначале без интереса:

— Добрые сапоги... Что верх, что поднаряд... Мастер работал... — Оглядел подметки, постучал ногтем. — Мастер... А носки пообносились...



Подгорный вдруг оживился:

— Давай подобью! Я могу...

Фомин смотрит на него. В этот момент он презирает Подгорного:

— Что ты за человек, а? Носки пообносились... Жрать нечего — ясно тебе? Воды нет — ясно? На кой черт они мне сдались после смерти! — Держа сапог за голенище, он трясет им перед лицом Подгорного. Подгорный без стука поставил сапог на место, тихо вышел. Фомин остается один среди разбросанных вещей.

Пустынный и плоский океан. Он застыл, отражая мертвый блеск солнца. Тишина. Ни звука. Ни движения. Нет ветра. Штиль. Баржа, будто внянная в воду, неподвижна. Бойков смотрит вниз на океан, в глазах — тоска. Рахматуллин сидит в одних портянках, безразлично смотрит на свои ноги. Подгорный — он какой-то подавленный, — прислонившись спиной к стенке, еле заметным шевелением пальцев раскручивает канат.

— Должна же быть рыба! — говорит Бойков. — Ведь это — океан!.. У нас озерце, как лука, и то всякая рыбешка водится. А это океан! Мертвый он, что ли? И чаек стало меньше...

Голос Бойкова, как крик души, прозвучал и стих. Все молчали.

Из рубки вышел Фомин, оглядел всех троих:

— Службу несем?!..

Никто не ответил. Некоторое время он следит за Подгорным. Кивком головы как бы приглашает всех посмотреть. Подгорный расплетает канат.

— Ты зачем это, а? — спросил Фомин. Ему кажется, что изо всех из них только Подгорный ничего не чувствует, и у Фомина желание поиздеваться над ним.

— Чтобы руки двигались, — с трудом отвечает Подгорный. — Не могу без работы.

Пока он говорит это и веки опущены — у него спокойное лицо. Поднял веки — странный блеск в глазах.

— Дыхание бы живое услышать за бортом, — горячим шепотом говорит Подгорный, а глаза уже безумные. — Ночью в степу за деревней хоть волки воют. А тут молчит все. Нет ничего!..

Он смотрит на океан, смотрит на небо. Глаза расширяются. Небо смещается вниз, океан смещается вверх. Слились. Сплошная вода. Будто весь мир — океан.

— Затопил океан, — бормочет Подгорный ссохшимся голосом. — Везде вода... Где земля? Где люди? — Он пытается подняться. — Океан затопил... Все затопил. Плыть надо... Плыть!..

Он ползет по палубе к борту, пытается встать, хватается за леера, кричит:

— Туда!.. Плыть!.. К земле... Хоть бы шторм! Не движется!

— Петро, куда ты? — кричит Бойков, вскочив. — Ребята, держите его!

Из тумана перед Подгорным на минуту возникает лицо Бойкова и опять отодвигается в туман. Безумные глаза Подгорного. Он кричит:

— Шторм нужен! Шторм! Где земля? Где люди? Шторм!.. Плыть!..

Руки Рахматуллина отбрасывают его от борта:

— Молчать! Ты... ты... — Бледный, позеленевший Рахматуллин испуганно вглядывается в лицо Подгорного. — Ты что — с ума сошел? Ребята, что с ним?..

— Не надо, Закир, — останавливает его Бойков. — Не надо. — Перед грозой бывает... Воды!..

Фомин бежит за водой. Бойков расстегивает Подгорному ворот. Все еще бледный Рахматуллин стоит над ним.

Вернулся Фомин с чайником и бритвенным стаканчиком в руках. Руки дрожат, не может налить. Рахматуллин вырывает у него чайник. Носиком раздвигает губы Подгорного. Драгоценная вода льется по губам, по щеке. Подгорный почувствовал ее. Он сейчас не в полном сознании, он сейчас еще не человек. Жадно, хватая зубами носик, делает один глоток, другой... Глаза открываются. Они осмысленны. Сознание вернулось к нему. Бессильной рукой отводит от губ чайник. Говорит виновато:

— Не надо... Береги... Не надо...

Лица троих над ним. Первым отошел Рахматуллин. Ребята уводят Подгорного в рубку. В руках Фомина чайник с заткнутым носиком и бритвенный стаканчик. Остается на палубе брошенный нерасплетенный канат.

...Немного погодя из рубки выходят Фомин и Бойков. Фомин говорит виновато, приглушенным голосом, чтобы Подгорный не слышал:

— Я ведь почему: думал, он ничего не чувствует. Самый спокойный из нас...

Фомин, что-то увидев, остановился. На палубе — брошенные портянки Рахматуллина. Фомин смотрит дальше. По внешнему борту, с багром в руке, босиком, держась другой рукой за леера, тихо крадется Рахматуллин. После того, что было сейчас с Подгорным, сержант показался Фомину в первый момент сошедшим с ума. Не замечая солдат, всецело поглощенный чем-то, Рахматуллин продолжал продвигаться по внешнему борту, а за ним привязанная к багру ползла веревка. И сейчас же за бортом, рассекая воду, показался острый плавник.

— Акула! — почти беззвучно крикнул Фомин. Движения его сразу обрели кошачью мягкость.

Сильная большая рыба плыла мимо баржи. Острый плавник резал волну.

Океан ожил. Легкие волны покачивали баржу, шлепались о нее. Босые ноги Рахматуллина то опускались до самой воды, то вместе с внешним бортом подымались высоко вверх. Пальцы на ногах обрели цепкость. Видно, как они передвигаются, напрягаясь, по мокрому, скользкому железу.

Опять вдали пробороздил воду плавник акулы. Внешний борт баржи сразу пошел вниз, черпнул воду, рука сержанта, державшаяся за леер, сорвалась. Когда борт поднялся, пенная вода текла с него, — Рахматуллина не было видно, только ползла, уходя за борт, веревка. В следующий момент Фомин метнулся в рубку, выскочил оттуда, на ходу срывая с себя сапоги, крикнул Бойкову:

— Веревку держи!..

И прыгнул за борт. Бойков видел у него в руке нож.

— Держи!.. Крепче!.. — раздалось уже из-за борта.

Из-за спины — голос Подгорного.

— Что? Что?

Под самым бортом барахтаются в воде Фомин и Рахматуллин. Фомин поддерживает Рахматуллина, оглядывается в океан. В руке у него нож. Из-за волны ему ничего не видно. Он обматывает веревку вокруг Рахматуллина.

С баржи хорошо видно, как из океана, то скрываясь, то появляясь вновь, приближается плавник акулы. Бойков и Подгорный с искажившимися лицами тянут веревку. Кончилась сухая веревка, пошла мокрая. Четыре костистых руки, впираясь пальцами, перебирают ее...

Закутанные в одеяла, сидят рядом на койке Фомин и Рахматуллин. Бойков растапливает печку, с обожанием поглядывает на Фомина.

— Я и плавать-то не умею,— смущенно признался Рахматуллин: его гнетет все происшедшее.— Возле нас реки близко пет. Сухая степь...

— Чего другого,— говорит Фомин,— а этого у нас хватает. На воде вырос. С четырех лет на Амуре пропадал. Как только лед сойдет...

Опять — это вошло уже у Фомина в привычку — ощупал себя руками, полазил пальцами в нагрудных карманах, но вытянул только сложенную книжечкой размокшую газету.

— Знаю же, что табака нету,— говорит Фомин,— а все думается, может, забыл где. Эх, курить хочу до смерти.

Он разворачивает на ладони теперь уже ненужную без табака газету, прячет, оглядывается на иллюминатор, приподымается.

В иллюминатор видно: близко от баржи режет воду плавник акулы.

— Не отстает,— замечает Фомин.

И тут оба замечают, что Подгорный опять рассматривает сапоги, вертит их в руках, щупает поднаряд. Все замолчали, смотрят на него. Под их взглядами Подгорный смутился, словно был пойман на чем-то постыдном. Вздрагивающим голосом он, оправдываясь, сказал:

— Я к тому, что кожа... Какая никакая — все польза... Когда голод...

— Правильно,— тихо подхватил Бойков.— Я у Джека Лондона читал. Индейцы! Режут мокасины на ремни и едят, когда голод...

Фомин взял один сапог. Щупает поднаряд. Морщится.

— Эх, акулу не поймали...

Сапог переходит в руки Рахматуллина, потом опять Подгорный держит его.

— Вот и пригодилась телятипка,— невесело шутит Фомин, глядя на сапог.

Руки Подгорного распарывают ножом сапог. Топится печка. Вид у Подгорного деловитый, сосредоточенный, и следа не осталось от недавнего душевного срыва — он занят делом. А снизу из люка доносится до него голос Бойкова.

Бойков, лежа на койке, читает вслух книгу «Мартин Иден» Джека Лондона. Рахматуллин и Фомин слушают его, уставившись в железный потолок кубрика.

«— Я все-таки побил тебя, Масляная Рожа!— вскричал он.— Мне понадобилось для этого одиннадцать лет, но я побил тебя!..

Ноги у него дрожали, голова кружилась, и, пошатнувшись, он должен был сесть на постель...».

Бойков, прочитав это, молча оглядел всех из-за книги.

Рахматуллин задумчиво потер лоб.

— Упрямый парень этот Мартин... Никак не пойму только, зачем он утопился?

— Из-за бабы,— усмехнулся Фомин.— Втрескался в одну, а она ему от ворот поворот.

— Да нет же!— горячо возразил Бойков.— От жизни! Устал от жизни!— И в волнении сел на койке, стукнулся головой о потолок.

Молчание. Рахматуллин и Фомин непонимающе переглядываются. Первый подал голос Рахматуллин:

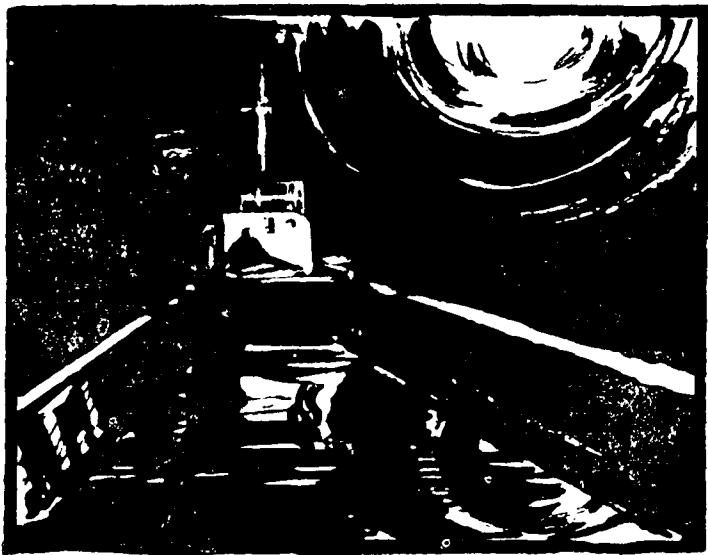
— Как это?— повернулся к Фомину: — Ты понимаешь?

— Высади меня на берег, я бы показал... жизнь!— говорит Фомин. Оба вопросительно смотрят на Бойкова.

— Ну как же вы не понимаете?— Бойков растерян, прямо задохнулся воздухом, жестикулирует руками, хочет объяснить.

— Зачитался,— сказал Фомин.

— Не-нет, я не то хотел, ну, я... это... в общем...— нерешительно произносит Бойков. И в эту минуту вид у него такой ошарашенный, такой недоуменный, что товарищи, пристально глядевшие на него, разом расхохотались. Рассмеялся и Бойков. Изможденные лица, низкий, мрачный кубрик, и смех молодой, смех душевно здоровых людей.



— Закир!— раздается голос Подгорного.— Закир! Сюда!

Рахматуллин медленно поднимается с койки, лезет в открытый люк.

На палубе, по бортам, на широком носу-трапе баржи, на леерах сидят чайки. Дует ветер, свистит в щелях. Лицо Подгорного тревожно и радостно возбуждено:

— Закир, садятся... Силки поставим завтра... Я ж умею... Будет еда... Обед...

Помолчав, Рахматуллин хмурым взглядом обводит рассевшихся чаек, потом говорит:

— Не радуйся. Чайки зря не садятся — шторм будет. Ты шторм просил.— И глядит долго, сожалеюще и странно на Подгорного. Подгорный попял — виновато отвернулся, опустил руки вдоль тела.

Вздыбившаяся волна бьет в борт баржи. В открытом трюме плещется вода. Волны перекатываются через палубу. Из люка, ведущего в трюм, вылезает мокрый Фомин с искаженным лицом, кричит:

— В нижнем трюме прибывает вода.

И как бы в подтверждение его слов при сильном броске баржи из открытого люка толстым столбом летят брызги.

— К помпе!—едва слышно командует Рахматуллин вполголоса.— Все — к помпе!

...Машинное отделение. За помпой Рахматуллин и Фомин. Их бросает, руки срываются с рукояток помпы, люди падают на колени, поднимаются. Сверху припали к раскрытому люку Бойков и Подгорный, на их лицах — мучение, им приходится бездействовать.

Наискось с кормы на рубку обрушивается страшная волна. В пенистой воде видны спасательные пояса, их несет за борт.

Руки срываются с рукояток помпы. Голос Фомина:

— Шабаш! Заклинил!— и ругается сквозь зубы в бессилии:— Дьявол! Везет же нам! Все к одному!— и будто отталкивает от себя помпу, пошатываясь.

Минута тишины. Двое глядят в люк. Двое стоят у испортившейся помпы. Сверху течет вода.

— Р-ребята... — растерянно оглядывается Бойков, — ребята... Как же это?.. Конец?..

Его голос плохо слышен в шуме ветра и волн, но по растерянному, испуганному лицу все понимают, что он сказал. И Фомин грубо, зло кричит спизу в ответ:

— Раскис! Хуже смерти не будет!

— Обвязаться всем поясами! — командует Рахматуллин и резко поворачивается к Фомину. — Пояса неси! Давай в рубку! Наверх!

Фомин лезет наверх к Бойкову и Подгорному. Они помогают ему пролезть в люк.

Штормовой океан.

Рубка. Рахматуллин, Бойков и Подгорный в изнеможении валятся на пол.

Распахнулась дверь. Вместе с брызгами воды вваливается Фомин, в руках у него пояса. Один пояс быстро сует Рахматуллину, второй — Подгорному, третий — Бойкову. Больше поясов нет.

Стараясь перекричать рев океана, Фомин объясняет:

— Все! Нет больше! Смело все пояса к чертям! — Глаза его остро прищурены.

Подгорный и Бойков, начавшие было обвязываться поясами, остановились, глядя на Фомина. Пояса у него нет.

Рахматуллин с усилием подымается, внимательно оглядывает всех, говорит:

— Давай сюда пояса. Все — в кубрик! — и первый сползает в люк.

Кубрик. На полу пояса. Волна раскачивает кубрик из стороны в сторону. Бойков, в углу, старается унять дрожь. Фомин заметил это. Боясь, что не так поймут, Бойков виновато говорит:

— Промок весь. Холодно...

Рахматуллин пристально смотрит на пояса, смотрит на ребят. И — неожиданно для всех:

— Топить поясами. До одного!

На мгновение — лицо Фомина. Блеснули зубы.

Огонь в печи. Когда Рахматуллин открывает дверцу, видно, как огонь слизывает надпись «Т-42».

Трое лежат на своих койках. Сверху на баржу обрушивается океан. Черное стекло иллюминатора. Ночь. Огонь из печи освещает лица. Что бы ни случилось дальше, у всех теперь одна судьба. И они приняли ее добровольно.

Снаружи шумит океан, раскачивается кубрик. Рядом с Рахматуллиным, сидящим у печи, опускается Фомин. Не поворачивая головы, сурово уставившись на огонь, он говорит:

— А ты верный человек, Закир. — Это разговор двоих, и шум океана как бы отделяет их обоих от остального мира. — Знаю, ты их любишь, а не меня... — Кивает в сторону ребят. Вдруг улыбнулся. — На службе ты бы хлебнул со мной горя. Я вас, таких службистов, не очень обожал. Ладно... — Рука Фомина легла на плечо Рахматуллина. — Ну, что ж. А все-таки верный, не продашь. Вот, может, утра не дождемся. Но я сказать хочу — я тебе друг. Хочу, чтоб знал ты.

— Молчи, Николай, — мягко говорит Рахматуллин, — не надо.

Они говорят негромко, но все койки близко, и Бойков слышал их. Придвинулся, на койке, его возбужденное лицо рядом с их лицами:

— Ребята! Я стыдился сказать! Но это хорошо. Это, честное слово, хорошо, понимаете? Я всю жизнь хотел, чтоб так было, потому что мы — вместе!

Рука Рахматуллина мягко надавила на край койки Бойкова: мол, не надо, словами про это не надо говорить, так лучше.

Сползает со своей койки Подгорный. И вот у печки, сбившись в тесную кучку, все четверо, голова к голове. Ревет океан, бросает кубрик, а возле печки — все четверо, с одной судьбой.

Особенно сильный удар волны сверху. Потолок тяжело закрипел, грохотала вода за переборками, в трюме. Подгорный, подняв голову, осторожно глядит на потолок, заговорил с неестественной веселостью:

— А вода-то, хлопцы... Вода-то прибывает... Веселое дело...

— Ты не думай,— сказал Рахматуллин,— ты слушай, Петро. Разговор не прерывай.

— Эх, сыграл бы я вам сейчас!— говорит Фомин с отчаянием, оглядывается, морщась, достает из кармана пачку чая.— Или закурить?

— Сердце так испортишь,— шепчет Бойков.

— Теперь вроде нечего беречь. Может, через час, а то через пять минут нас ша-рахнет — все одно: больное сердце или здоровое.

— А все-таки береги,— возражает Рахматуллин.

— Брось чай.— С натугой подымается, падая то на одну, то на другую койку, пробирается к своему изголовью. Вернулся, держа в пригоршне щепотку табаку.

Фомин удивлен.

— Табак?

— Берег. Для такого вот случая. Давно берег.

Все четверо сидят близко друг к другу. С огромными предосторожностями благоговейно свертывается последняя сигарка. А в печи догорает последний пояс. Сигарка идет по рукам. Тесная кучка людей. Тянется над головами струйка дыма. Сигарка искурилась. Сгорает пояс. И Бойков говорит, виновато улыбнувшись:

— Утро бы увидеть еще раз. Утром почему-то не так страшно.

— Утром и умирать краше,— сказал Подгорный.

Рахматуллин посмотрел на печь. Молчание.

— Мы все вместе,— сказал он.— Хорошо. Хорошо...— И оглядывает всех.

Шумит океан. Черный иллюминатор. Бьет в него волна. Постепенно иллюминатор светлеет. Серым сумраком наполняется кубрик. Возле печи сушится одежда. Это рассвет. Улегся океан. Рахматуллин, видимо, не спал. Подымается с койки. Огляделся. Сел к печке. Ребята спят. На ящике у печки, прижатые различными предметами, лежат, сушатся четыре книжечки — комсомольские билеты. Взял один билет. Развернул слипшиеся листы: на фото — лицо мальчика. Бойков. Оглянулся на Бойкова. Тот во сне жует голодными челюстями, будто ест. Весь оброс. Старое лицо. Посмотрел на фотографию Подгорного. Потом на него. Страшно похудевшая бессильная рука лежит на койке. Ввалившийся висок. Рахматуллин долго смотрел и на Фомина. Тот зарос бородой. При утреннем освещении Рахматуллин впервые так ясно видит все это. Он тихонько прикрыл Бойкова одеялом. Слабыми ногами тащится к люку.

Очень долго открывал крышку люка. С усилием поднялся в рубку. Он очень ослаб. И особенно почувствовал это сейчас.

Из океана всходило солнце, чистое, утреннее, яркое. И океан был тихий, и все блестело, отражая свет. Рахматуллин был один в дверях рубки. Стоит, прислонившись виском к косяку двери. Никто не видел его. Он смотрел, как встает из океана солнце, и по обросшему лицу его медленно текут слезы. Потом Рахматуллин осторожно вытер лицо, открыл судовой журнал на том месте, где была последняя запись, взял в руку карандаш, наконечником которому служила патронная гильза.

Гул винтов огромного парохода. Музыка звучит в воздухе над океаном. В этой музыке — веселая, легкая беззаботность. Все это будто овеивает Рахматуллина. Поднял голову от судового журнала. Запавшие глаза останавливаются на одной точке. Слушает. Музыка. Плеск воды. Шум винтов. Шагает к двери рубки с задержавшимся лицом. Стоит в дверях, держась руками за косяки. Лицо меняется. В глазах — застывшие точки солнца.

Из-за поднявшегося солнца по чуть волнующемуся океану, отражающему лучи утреннего солнца, распространяя силу, музыку, гул винтов, близко идет корабль. огромный, белый, сверкающий, празднично торжественный. И видны люди на борту, глядящие на баржу, на Рахматуллина. Машут шляпами. Лицо Рахматуллина дрожит. Наклонился вперед — хриплым голосом:

— Э-эй!

Сзади легкий стук. Кто-то подымался из люка. У Рахматуллина — судорога на губах, в них застыл крик. Оглянулся сумасшедше:

— Бойков!

Бойков медленно подымался из кубрика. После сна помятое, болезненное, неотдохнувшее лицо. Щурится на солнечный свет.

— Бойков! — сипло кричит Рахматуллин.

— Что, что? — с тревогой глядит на него Бойков.

— Смотри! Слышишь? Видишь? — отрывисто бормочет Рахматуллин, указывая на океан.

Оба в дверях рубки. Смотрят на океан. А океан — пуст, нет музыки, нет гула винтов. Ничего нет. Пустота и вода.

— Что? Что ты? — обеспокоенно спрашивает Бойков.

Странно всхлипнув, точно в горле что-то застряло, Рахматуллин прислоняется лбом к косяку двери.

— Ничего, Витя... ничего... — шепчет он и слабо трется лбом о косяк, подбородок его дрожит.

Из рубки вылезают Фомин, Подгорный — ослабевшие, бледные. Оглядывают океан, весь в солнечном блеске. И оглядывают баржу — трюм залит водой чуть ли не доверху.

Фомин погладил шершавое железо баржи.

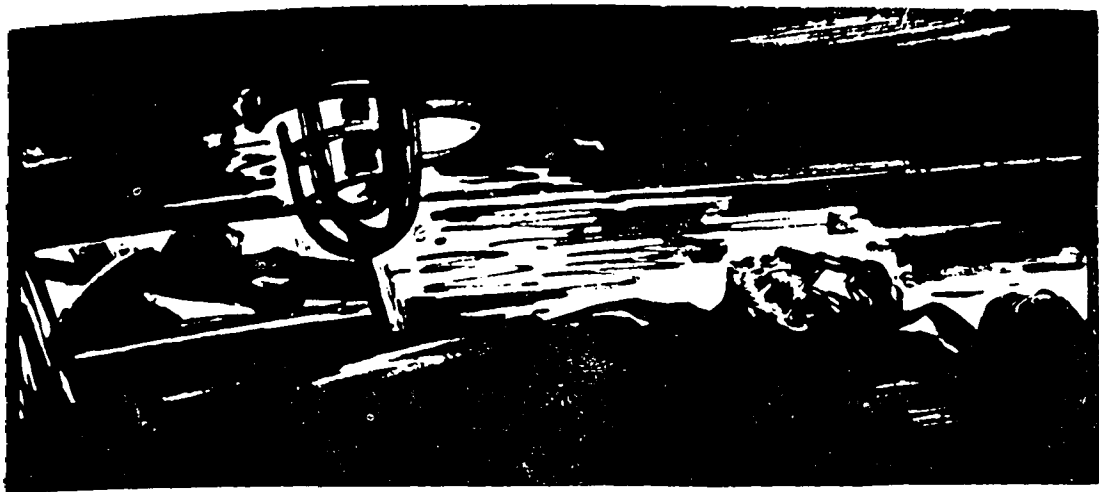
— А я ее еще корытом называл.

В ногах нет сил, и все четверо опускаются на палубу. Смотрят на спокойный океан.

— Все-таки будем жить, — убежденно шепчет Рахматуллин.

Все помолчали. Плеск воды.

— Сколько? — спросил Бойков, глядя за корму.



Невдалеке, вокруг баржи несутся, стригут воду два акулих плавника.
— Будем,— упрямо шепчет Рахматуллин.

Судовой журнал. Начатая страница. *25 февраля.* (Цифра 25 зачеркнута, вместо нее написано 26.) *Кончается вода. Пьем по два глотка в день. Кончаются кранцы. Больше топить нечем.*

Голос Фомина:

— Пора пить...

Кухонным ножом рука пилит автомобильную крышку. Рука слабая, нож не берет толстую резину, срывается. Подгорный оттирает рукавом пот с лица. Остальные сидят в рубке. Бойков смотрит на работу Подгорного, Фомин — на чайник с водой. У Рахматуллина на коленях судовой журнал. Он подымает голову, воспаленный взгляд на Фомина. Тот повторяет хрипло:

— Время нить...

Все молчат. Вокруг — ясный день, спокойный океан.

Фомин привстает с места.

— Чего молчите? — горячим шепотом выдыхает он. — Вот вода! Полчайника! Для чего бережем? Себя обманываем. На том свете она без надобности... Хоть раз поживем, как люди! Досыта... напьемся!..

Дикие, замутневшие глаза Фомина устремлены на Рахматуллина. Тот сидит неподвижно, смотрит в журнал. Только губы дрогнули.

— Молчи, Коля, молчи,— быстро говорит Подгорный.

— «Молчи»? Из-за тебя сколько воды вылили! Бросался в океан... лучше бы выпить ее!

— Коля, Коля, зачем ты... — говорит Бойков. — Как ты можешь?..

Рахматуллин, посмотрев на Фомина пристальным взглядом, неожиданно берет чайник и ставит перед ним.

— На, пей, Коля. Один пей. Досыта...

Сказал это спокойно, без тени упрека, и внимательно смотрел на Фомина. И остальные молчат — лишь смотрят.

Фомин жадно поглядел на чайник, на отчужденные лица ребят, искра сознания вспыхнула в глазах — и он медленно отворачивается от чайника, от этих взглядов... В это время качнуло баржу — и Фомин испуганно хватается за чайник, и сейчас же, стыдясь, что это могли не так понять, отдергивает руки.

Тишина. Мертвенно в океане. Молчат все четверо. Потом Рахматуллин спросил, согнувшись над журналом:

— Какое сегодня число? Двадцать пятое или двадцать шестое?.. — Рахматуллин считает на пальцах. — Я написал двадцать пятое, а сегодня двадцать шестое... — Медленно, утомленно считает по пальцам и повторяет тихо: — двадцать шестое...

Подгорный отрывается от работы, с неожиданной заинтересованностью глядит на Рахматуллина:

— Двадцать шестое февраля!.. Я ж, братцы, именинник сегодня. Двадцать лет... — в голосе его слабая радость.

Бойков и Рахматуллин глядят на него с сожалением и любопытством. Бойков грустно улыбнулся:

— А я за год до войны родился. А ты, Фомин?

— На год старше...

Бойков повернулся к Рахматуллину с тем же интересом:

— А ты, Закир?

— Я тоже...

— Тоже на год старше?

Рахматуллин медлит. Ему как-то неловко признаваться, что он однолетка Бойкова, словно это унижает его командирские достоинства. Все же признается честно:

— Нет, твоего года.

Удивление на лице Бойкова. И даже разочарование как будто:

— А я думал, ты самый старший...

И тут они слышат бульканье воды. Фомин наливает воду. А они сидят, боясь обернуться, а плеск воды все слышнее, все ближе как будто.

И стукнул чайник.

Фомин ставит четыре кружки. Три из них налиты до половины, четвертая — до краев. Эту полную кружку он ставит перед Подгорным.

— Возьми, Петро, от нас от всех. Больше подарить нечего. — Он виновато поднял глаза на ребят и сейчас же опустил. — День рождения все-таки...

— А у меня день рождения не скоро...

Бойков, глядя на полную кружку, облизал сухие губы. Он еще не успел подумать, что говорит, а, сказав, смутился.

Фомин, стараясь забыть все, что было, с заблестевшими глазами положил руку на плечо Подгорного:

— Пусть тебе, Петро, еще четыре раза по двадцать стукнет.

Но Подгорный берет свою кружку и мужественно отливает из нее в остальные кружки так, чтобы везде было поровну. Растроганно говорит:

— Зачем так? Нехай всем нам прожить еще четыре раза по двадцать.

С ним не спорят. Подняли кружки, медленно, торжественно пьют.

Фомин стукнул пустой кружкой по столу:

— Эх, и сыграю я вам! Гулять, так гулять!

Бойков:

— Печка тухнет. За кранцем схожу...

Он выходит на палубу, а за спиной заиграла гармошка.

В рубке Фомин разводит гармошку, возбужденно говорит:

— Пусть нам будет пять раз по двадцать! Мы будем жить. Будем жить!..

Играет: «Это ничего, что мы солдаты...» Рахматуллин и Подгорный тихо, неуверенно, стыдливо начинают подпевать: «Это ничего, что мы солдаты, далеко теперь ушли от дома...» Изможденные, обросшие лица, запавшие глаза. И эти изможденные лица обмякли, а на запавших глазах слезы. Поют.

Лицо Бойкова. Он вытаскивает кусок кранца. Взгляд обостряется, рука лезет в щель возле стока воды, глубже, глубже. И неожиданно напряженное лицо озаряется счастливой улыбкой. Бойков что-то вытаскивает наружу.

Фомин, Рахматуллин, Подгорный поют. Те же истомленные, размякшие лица, слезы на глазах. «Это ничего, что мы, солдаты, далеко теперь ушли от дома...» В дверях счастливый Бойков, ладони держит ковшиком, в них, как драгоценность, несет картофелину:

— Смотрите!

Музыка обрывается.

Ночь. Звездная ночь над океаном. В верхнем трюме баржи, в неоткаченной воде плещется между бортами свет звезд. Блестят стекла рубки, блестят мокрые леера, смутно угадываются очертания всей баржи. Под ней — океан, ночью особенно бездонный. Над ней — небо. Когда смотришь в небо — баржа стоит на месте. Глянешь вниз — плывет она среди волн, лижущих ее борта. На всем своем теряющемся вдали пространстве океан отражает звездный свет.

У самой рубки, на палубе, сливаясь с нею, сидит кто-то закутанный в одеяла. Это Бойков.

В рубке зашевелилась крышка люка в полу, приподнялась, побыла так приоткрытой — захлопнулась. Некоторое время оставалась неподвижной. Потом вздрогнула и начала медленно подниматься. Крышка люка боролась с человеком, всей своей мертвой тяжестью сверху давила на него — вот-вот захлопнется. Человек был слаб. Медленно, с остановками он приподнял и откинул крышку люка, с трудом вылез в рубку Рахматуллин. Передохнул. Подошел к компасу, сверил направление, посмотрел на океан, на баржу.

И только сейчас заметил Бойкова. Отчего-то первая мысль была тревожной. Рахматуллин осторожно подошел, взгляделся. У Бойкова бледное, особенно бледное ночью, заросшее лицо, втянувшиеся щеки, большие на худом лице глаза. Они влажно блестели.

С отлегшей от сердца тревогой Рахматуллин заговорил грубовато:

— Ты вот так не сиди один. Ночью особенно...

— А что? — слабым голосом спросил Бойков, не шевелясь.

— Волна смое и не услышит никто. Мы теперь такие — каждого ветром шатает.

И Рахматуллин сел рядом. Некоторое время молчали.

— Красиво как, — задумчиво сказал Бойков. — Небо и вода, а как красиво!

— А, — махнул рукой со вздохом Рахматуллин, от которого все заслоняла забота.

Помолчали. Это тихий ночной разговор, когда слова кажутся отрывочными, потому что между словами — молчание — тоже разговор, только не вслух.

Теперь, когда они молчат, снизу из кубрика слышна гармошка.

— Странно,— сказал Бойков и замолчал.

Это заговорил человек, у которого на лице остались одни глаза, у которого уже не было физических сил, которому жить оставалось, быть может, несколько дней. Рахматуллин смотрел не на океан, он смотрел сбоку на Бойкова, стараясь что-то понять.

— Говори,— попросил Рахматуллин тихо.

Бойков слабо улыбнулся.

— Нас несет сейчас, как первых мореплавателей. Как тысячу лет назад. Странно... Ведь теперь человек часов за восемь перелетает океан. А мы — как тысячу лет назад.

Рахматуллин сидел задумавшись. Машинально потянулся к карману за кисетом и тут же отдернул руку. Он волновался. Но это внутренне, а внешне это выразилось только в том, что он стал искать кисет. Внешне он был спокоен. Он сидел, слушал. Он умел слушать.

— А все же нам легче...—опять негромко заговорил Бойков,—в нас... в нас опыт всех веков. Мы, может, не замечаем, а мы с этим уже родились...

Рахматуллин сделал движение, как будто потрогать что-то хотел.

— Как это?... Расскажи...

По свойству характера ему неловко было признаться, что он не понимает. Но Бойкову он доверял.

— И в тебе опыт, и во мне — во всех нас,— проговорил Бойков.— Мы же знаем, его можно переплыть. Только у нас сил нет. Сил нет,— повторил, будто выдохнул Бойков, глядя на океан.

Рахматуллин долго молчал. Заговорил тихо, заметно волнуясь:

— Пять лет было—отца убили на фронте. Мать, две сестры. Совсем дети... Шесть классов кончил — работать пошел. Уходил из школы — жалел. Сколько сил было! О, сколько сил!— перевел дыхание.— Ты все читаешь. Хорошо. Много читал, много людям объяснить можешь. А я — мало читал. Некогда было.

Тихо. Плещет вода о борт баржи.

— А мы — как тысячу лет назад,— опять повторил Бойков.

Два человека сидят на палубе тесно друг к другу, две темные фигуры. Через их спины — океан, отражающий свет звезд.

Теперь, когда они молчат, снизу, из кубрика, слышней гармошка. Там тускло горит фонарь над холодной печью. Сидя на койке под низким потолком, Фомин тихо наигрывает что-то грустное, деревенское, прикинув ухом к гармонии. Подгорный на другой койке. Фомин не замечает его, забыл о нем: он играет сейчас для себя, прощается с гармонью. А Подгорный слушает. И такое у него сейчас хорошее, душевное лицо, когда он слушает песню.

— Це наша,—сказал Подгорный. И неожиданно, подпершись но-бабьи, стал подпевать топким, не своим голосом. Всхлипнул.

— Як ты, Мыкола, це знать можешь, кажи мэни? Ты ж не жив на Вкраини.

Фомин свел меха, вздохнул вместе с гармонью.

— Грай ще,— попросил Подгорный.

— Все! Отыгрались!..

Лицо у Фомина жесткое. Достал ножик, сжав губы срезает кожаные части гармони. Подгорный смотрит на него. И постепенно на лице Подгорного все другие чувства затопляет жалость к товарищу. Он понимает: Фомину сейчас тяжелей.

Переворачивая гармонь, Фомин свел меха. Они только вздохнули сквозь дырку, звука не получилось. И тогда Подгорный, чтобы развлечь товарища, сказал:

— А ты нэ журись. Хочешь, я тебе без музыки станцюю?

— Танцор!.. Ты встать-то можешь? — грустно спросил Фомин.

— А я — сидя... Ось бачь. — Це дид пьяный с базара идэ...

И пальцы Подгорного, заплетаясь один за другой, пошли по холодной печи. А сам Подгорный голосом загулявшего деда запел:

— О це добре загулявси...

Пальцы, стоя на месте, покачивались. И вдруг мелкой, семенящей рысцей трусливо побежали в сторону.

— Жинку увидал! — пояснил Подгорный.

Совсем другая походка была у «жинки». По одному тому, как переступали пальцы, видно, что деду достанется.

— Це його жинка, — опасливым шепотом сообщил Подгорный. — Ось щас будэ диду по потылице.

Фомин смотрит вначале отчужденно, но постепенно интересуется. Положив руки на остатки гармони, опершись на руки подбородком, следит повеселевшими глазами за пальцами Подгорного.

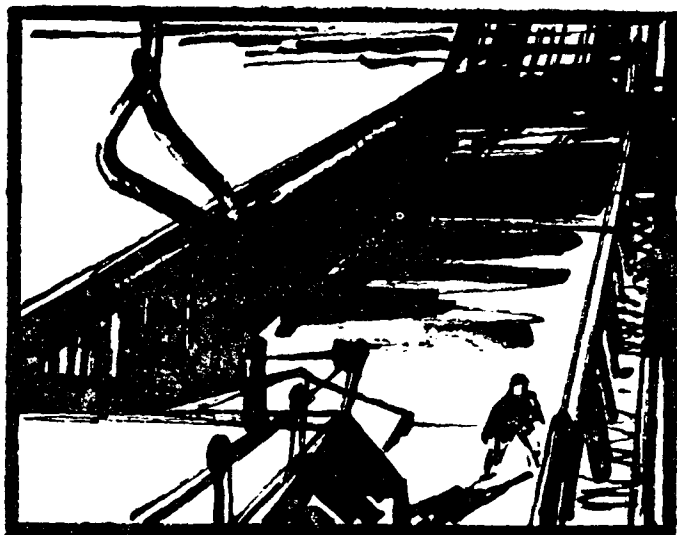
— А це — козак неженатый, — старается Подгорный. — Гопака танцюю...

Фомин смеется. Смеется голосом, лицом, а глаза холодные, глаза не смеются.

Наверху, на палубе, слышны какие-то странные звуки: не то смех, не то рыдание. Рахматуллин и Бойков прислушались. Снова тишина. Будто почудился обоим этот неестественный смех. Бойков поднял глаза, долго смотрел на звездный океан, на этот мертвый черный простор, и вдруг сделал движение подняться, прошептал:

— Закир, смотри... что это?

Рахматуллин поднял лицо, всмотрелся, чуть наклонясь вперед, неверяще, бессильно провел рукой по лицу. В темном океане, в метрах двадцати от баржи, покачиваясь, тускло блестя в звездном свете, плыл странный круглый предмет, похожий на шар. Его движение угадывалось по тому, как он загораживал блики звезд в воде. Оба переглянулись — напряжение мелькнуло на их исхудавших, бледных лицах. Бойков выдохнул:



— Сюда плывет!..

— Мина,— хрипло выговорил Рахматуллин.— С войны плавает...

Первым встал с затруднением, шагнул к борту Бойков. Рахматуллин попробовал подняться следом. Сразу не получается. Оперся руками, встал, продвинулся к лееру, схватился за него, глядя в океан. Черный шар, слабо светясь, приближался к барже, и баржа приближалась к нему. Пространство между ними заметно сокращалось.

— Дай багор, ребят позови, всех наверх, быстрее!...— еле слышным голосом подал команду Рахматуллин.

А круглый шар уже прыгал на легкой волне в десяти метрах от борта баржи. Понесся крик Бойкова в рубке:

— Ребята, наверх!

Шар, ныряя, металлически отсвечивая, был уже в пяти метрах от борта. В эту минуту, пошатываясь, Бойков подал багор Рахматуллину, а тот, нецепко схватив его, опустил руки, сжимавшие багор, сел от бессилия, от этой тяжести в руках. Сделал попытку подняться, прохрипел:

— Горючее бы... Моторы бы включить... Ушли бы от нее...

— Сержант... Закир, дай багор. У тебя сил нет. Я смогу... оттолкнуть ее,— требовательно повторял Бойков.

Рахматуллин смотрел за борт огромными, неестественно широкими глазами. Нет воды. Нет шара. Чернота перед глазами. Все плыло перед ним.

— Повторяться стало,— прошептал Рахматуллин. И точно сдирая что-то, провел рукой по лицу.

Бойков схватил багор, шаг — к борту. Повернулся.

— Сзади держи меня!

Тихо подвигаясь, шар уже был в полуметре от борта. Стекланный зловеший блеск исходил от него. Тяжело дыша, Бойков держал багор. Шар ближе, ближе. Багор повис над ним. Неловко прикоснулся, соскальзывая, слабо оттолкнул. Шар пырнул и вновь вынырнул, покачиваясь, будто смертельная тяжесть глухо спрятанного в нем заряда вытолкнула его наверх. Шар опять приблизился к борту баржи. И снова багор, соскальзывая, оттолкнул его.

— Нет, нет!— быстро, невнятно повторял Бойков.— Ребята бы вылезли...

Рахматуллин держал его сзади, преодолевая слабость. Медленно выползали на палубу Фомин и Подгорный. «Что там?»— голос Фомина за спиной у Рахматуллина. И, услышав этот голос, движение позади себя, странно и напряженно подобрался Рахматуллин, затрудненно сказал Бойкову:

— Дай багор,— и сбоку нащупал багор в руках Бойкова.

— Это не мина!— послышался слабый вскрик Бойкова.— Шар какой-то...

Теперь Рахматуллин у борта. Держал багор, смотря вниз. Выждал. Спизу подцепил багром этот предмет.

— Нет, не мина,— с трудом дыша, сказал он.— Поплавок...

Стекланный шар, мутный, сильно обросший солью, лежит на столе кубрика. Бородатые лица вокруг него. В руках Бойкова вынутая из шара записка. Желтый листок рисовой бумаги, полусгнившей по краям. Иероглифы. Хотелось бы, но не прочесть. Бойков удивленно вертит в пальцах записку. Рахматуллин берет ее.

— Тоже, как мы, наверное,— сказал Рахматуллин.

— Прочсть бы.

— Ребята,— сказал Бойков,— давайте тоже бросим записку. Вот же нашли... Это иероглифы. Японцы...

Сгрудившись, все уже с другим чувством смотрели на записку в его руках.

— На ней год есть,— сказал вдруг Фомин. И тут все заметили в нижнем левом углу бумаги почти стершиеся от сырости цифры: «1939». Каждый молча прочел их. Молчание было тягостным и долгим. А за окном рубки колыбался океан, необъятный как вечность.

— Двадцать один год проплавала,— высчитал Подгорный.

— И к нам попала,— Фомин усмехнулся.

Тогда Рахматуллин достал из нагрудного кармана гимнастерки сложенную бумагу, расправил на столе.

— Пиши ты,— сказал он Бойкову.

При свете фонаря Бойков ждал с карандашом в руке. Рахматуллин стоял перед ним. Словно чувствуя некую новую для него ответственность, он волновался и не мог найти слов. Стоял Фомин. Подгорный. То, что напишут они сейчас в записке, это, быть может, последние слова, которые суждено им сказать людям.

— Нас...— несмело предложил Бойков: — Нас было четверо советских солдат. Никто не заметил, что они говорят о себе в прошедшем времени.

— Пиши,— утверждая, сказал Рахматуллин осевшим от волнения голосом. И пока Бойков писал, все трое следили за его рукой, а у Рахматуллина шевелились губы, повторявшие про себя слова. Дождавшись конца фразы, он сказал:

— Пиши: «Все четверо — комсомольцы!»

— Унесло в океан семнадцатого января,— подсказал Фомин.

— Год напиши,— добавил Рахматуллин. Подгорный тем временем незаметно вышел. А Рахматуллин, следя за рукой Бойкова, продолжал:

— Сегодня сорок пятый день. Продуктов нет. Течением и ветром несет на юго-юго-восток.

— Тут что-нибудь...— сказал Бойков.— Ведь если люди читать будут... —

— Не надо,— сказал Рахматуллин,— Поймут. Пиши: «Пока силы есть, будем держаться. Просьба ко всем, кто найдет записку, переслать ее нашим семьям...»

В рубке опять появился Подгорный с банкой краски и клочком материи в руках:

— Наш флаг рисуем. Пусть под нашим флагом.

И стеклянный шар, двадцать один год проплававший в океане, вынутый из воды на короткое время, был снова сброшен с борта в океан. Четверо ребят смотрели, как он отдаляется, сносимый волной, то появляясь, блестящий при свете звезд, то исчезая; флаг на нем уже терялся в сумраке. Шар уносил их записку, они смотрели вслед и прощались с чем-то очень большим.

Судовой журнал. Тихо листаются страницы с записями. Последняя страница. Слабый, крупный, корявый почерк. Строчки срываются вниз. Последняя запись.

3 марта. Мы сорок седьмой день в океане. Вчера съели гармонь. В день пьем по два глотка воды. Скоро нечем будет топить. Местонахождение определить не можем.

Кубрик. Тишина. Четверо обессиленных людей лежат на койках. Безжизненные лица. Живы только глаза. На крайней койке слабо пошевелился Бойков. Смотрит на свою руку. Согнул и разогнул бессильные пальцы. Он смотрит на них пристально, серьезно, с тихим изумлением.

Фомин лежит на спине, руками придерживает сидящую на груди куклу. Пальцы как будто поглаживают ее. Голова запрокинута. Смотрит в потолок.

С соседней койки бессильно свесилась широкая костистая, сильно похудевшая рабочая рука. Это рука Подгорного. Он лежит на койке, тоже на спине, глаза закрыты.

Рахматуллин тоже лежит на спине, в руках держит перед глазами вырезанную из газеты карту. Но даже эту бумажку нет сил держать. Руки опускаются, карта лежит на груди.

Тишина.

Бойков сгибает и разгибает пальцы, лицо углубленное, печать значительной задумчивости на нем. Голос Бойкова — его мысли:

«Одна мать вспомнит. А людям — нечем... Думал на Венеру лететь... Неужели умрет все, о чем думал? Все!.. Я не хочу так быстро умирать. Не хочу!.. А как же мать?»

Запрокинутое лицо Фомина, руки, придерживающие на груди куклу. Голос Фомина — его мысли:

«Я никогда по-настоящему не любил тебя, и когда мы с тобой познакомились, и когда свадьбу играли, и когда ты провожала меня в армию, и когда я писал тебе письма — не любил. Не умел... Митьку тогда избил до крови за то, что он пошел с тобой. Зачем?.. Не от любви, от обиды за себя. Себя любил, не других. Только теперь я люблю тебя. Как бы мы стали жить... С тобой, со всеми... Может, уже родился сын. Даже в руках не подержал. Ничего не понимал. А может, он на меня будет похож. Все что-то от меня останется на земле...»

С напряжением чуть поднял голову, смотрит на Подгорного. Медленно, непослушными пальцами расстегнул ремешок, снял с руки часы. Положил их на одеяло Подгорного.

— Петро... возьми... ты часы хотел...

Уронив с койки руку, закрыв глаза, лежит Подгорный. Свешенная рука медленно поднимается, падает на грудь. Голос Подгорного — его мысли:

«А еще любил я утречком рано на тракторе... Солнце греет в спину. От мотора теплым маслом пахнет. Хорошо... Кусты мокрые, а в кустах птицы возятся... Хорошо... Машина сильная, плуг в пять лемехов, землю режет... Спиной, плечами эту силу чувствуешь, в груди даже холодит от радости. Хорошо... Океан не люблю. На землю бы... Еще бы проехать. Всю бы жизнь так. Больше ничего не надо...»

Лицо Рахматуллина смотрит в угол кубрика. Его голос—его мысли: «Я боюсь умереть первым. Я должен держаться. Они не спрашивают, но они все время ждут от меня чего-то... Я отвечаю за них, а что я могу?.. Если бы их не было, я бы всего этого не выдержал. Только бы не умереть первым. Мне очень плохо... Мне нужно встать, растопить печь... Нужно... Они не должны видеть, что мне плохо... Нужно... — Пошевелился. Пауза.— Не могу...»

Рахматуллин поворачивает с трудом голову, подтягивается, опираясь спиной об угол, усаживается, говорит через силу:

— Скоро весна. Начнется навигация. Нас найдут.

Никто не ответил, не пошевелился. Рахматуллин видит их лица, замкнутые, бесстрастные. Говорит хрипло:

— Было два корабля, будет и третий. Заметят...

Трое по-прежнему молчат.

А наверху океан покачивает борт баржи. Вдали по океану идет этот третий корабль. Он не замечает баржи. Медленно скрывается за горизонтом. Пустая палуба баржи, лежит половина кранца, покачивается раскрытая дверь в рубку.

Скрылся корабль, садится солнце. Одинокая баржа качается в океане. Печальный крик чаек. Темнеет.

С другого конца океана подымается солнце. На палубе ничего не изменилось. мокрые доски, лежит половина кранца, раскачивается дверь в рубку. Тихое утро, спокойный океан.

Кубрик. Лежат закрытые до подбородка люди, не двигаются. Неизвестно, живы ли. На полу возле койки Фомина валяется кукла. Вода в чайнике с открытой крышкой и заткнутым носиком. Возле нее кружки и бритвенный стаканчик, которым отмеряли воду. Мятая карта, вырезанная из газеты. Кажется, вещи живут уже своей отдельной жизнью.

Рахматуллин внимательно оглядывает всех. Бойков лежит с закрытыми глазами.

— Витя! — позвал Рахматуллин. Тишина. Сначала Фомин, потом Подгорный зашевелились. Смотрят на Бойкова. Тревога. И наконец ответ:

— Я не сплю.

Голос тихий, бесцветный. Бойков открыл глаза. Странно улыбнулся:

— Ребята, если кто почувствует, умирать будет, пусть скажет. Простимся.

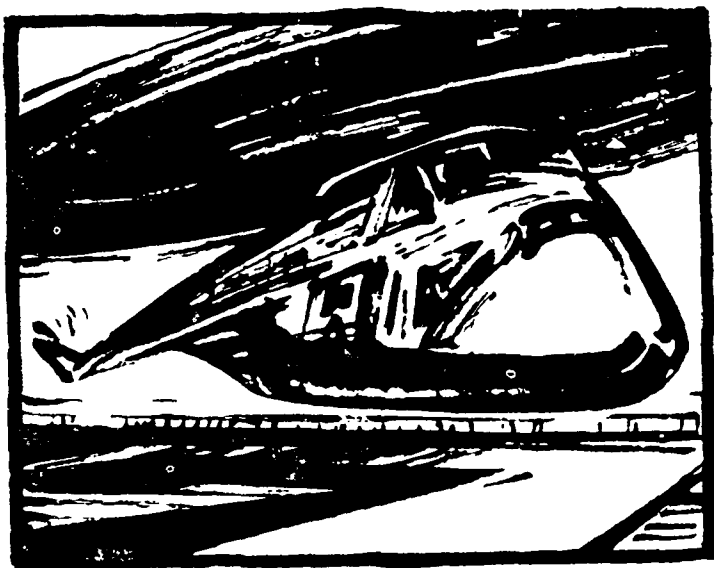
Молчание. Рахматуллин чувствует, надо что-то сказать. А что? И опять тихим голосом говорит Бойков:

— А кто последний, пусть на стене наши имена напишет... — С усилием перевел дыхание. — Все-таки мы долго продержались... Когда-нибудь найдут...

С великим напряжением воли Рахматуллин шевелится. Жизненных сил нет, одной волей заставляет себя сползти с койки. Все смотрят на него и удивляются, что он еще может встать. Хватаясь за вещи, добрался он до печки. Голова кружится, дрожат руки. Нащупывает ими ножик на полу. Пытается отрезать от кранца кусок. Нож срывается, нет силы в руках. Берет что осталось от кранца, целиком заталкивает в печку. Говорит с одышкой:

— Вот печь растоплю... Тепло будет...

Загорается в печи обрывок газеты.



— Муха,— доносится, как шелест, слабый полувопросительный голос Бойкова. Голос его — как бред.

Рахматуллин осторожно оглядывается: что с ним? И так же осторожно, с опаской:

— Что, Витя?

Все молча, со слабым беспокойством поворачивают головы в сторону Бойкова. Он лежит неподвижно, щека на подушке, следящими глазами наблюдает за мухой.

— Муха здесь,— повторяет он шепотом.

— Муха... живая... откуда ж она?— шепчет Подгорный.

Какой-то гул, похожий на гул самолета. Но после стольких дней, стольких надежд — страшно поверить. И все же прислушиваются. Никто не двигается. Оставившиеся глаза. Нет, померещилось...

— С нами дрейфует,— еле слышно говорит Рахматуллин, а лицо застыло, будто боится галлюцинаций, как тогда с кораблем. — И ведь что-то есть.

— И пьет,— добавляет Бойков.

— Только вот не курит,— шепчет Фомин.

Опять гул самолета. И опять все вслушиваются. Страшно поверить, страшно обмануться потом. Смотрят на Рахматуллина.

Он замолчал. Теперь уже все ждут.

Оглушающий гул самолета пронесся над баржей. Хватаясь за печку руками, Рахматуллин подымается, ползет вверх, по ступеням. Все зашевелились. Рахматуллин лезет, лезет Люк. Не может поднять крышку. Огромной тяжестью крышка давит сверху. Руки бессильны. Пытается поднять ее плечом, спиной! Еще чьи-то две руки подпирают крышку. Она не поддается.

Сверху по палубе проносится тень самолета. Крышка люка неподвижна. Снова тень самолета и неподвижный люк.

Внизу Рахматуллин и Фомин со зверскими лицами, хрипло дыша, пытаются открыть крышку люка. Вчетвером к ней нельзя подступиться, Подгорный и Бойков подпирают снизу. Завизжали петли. Свет солнца резанул по лицам.

Солнце в рубке. Из люка в рубку вылезает Рахматуллин. Проносится самолет. Маленькая баржа, маленький человек на ней.

Вылезли Фомин. Подгорный. Держась за косяк двери, задыхаясь, стоит Бойков. Сел у двери. Дергаются губы. Не то заплачет, не то засмеется.

Самолет скрылся. Четверо, поддерживая друг друга, стоят на палубе; поддерживая друг друга, смотрят в ту сторону, где скрылся самолет.

Из-за океана начинает подыматься огромный корабль. С него взлетают четыре крошечных издали вертолета. Они быстро приближаются. Они уже кружатся над палубой баржи. А на палубе стоят, поддерживая друг друга, четверо ребят. Они смотрят на вертолеты.

— Не наши,— говорит Рахматуллин.

Низко, метра в пятнадцать над палубой, повис вертолет. Из дверцы сбрасывается трос с петлей. Он качается над палубой, его сносит ветром. Ребята переглядываются, смотрят на Рахматуллина. Петля качается. С океана, с приблизившегося авианосца кричат в усилитель по-русски:

— Помощь вам!.. Помощь вам!..

И теперь, в присутствии чужого корабля, чужих вертолетов, это опять солдаты, подчиняющиеся команде старшего из них, Рахматуллина. И, наконец, Рахматуллин тихо подталкивает Бойкова:

— Давай, Витя...

Бойков движется к петле. Ее сносит. Фомин пытается поймать. Петля перемещается то к одному, то к другому борту, а ребята ослабели, не поспевают за ней. Каждый ловит эту петлю и чувствует, что с вертолета тоже пытаются помочь. Вертолет сам в этот момент — доброе, живое существо. Над ними висят еще два вертолета. Фомину удастся поймать петлю. Он помогает Бойкову надеть петлю. Бойкова поднимают вверх, и трое снизу смотрят на него. Впервые их не четверо, а трое. Мгновенное чувство утраты.

Палуба сверху. Спускается новая петля. Видно, как Подгорный надевает ее. Двое других помогают ему.

И вот только двое на палубе. Фомин говорит Рахматуллину, держа петлю:

— Сержант, ты...

— Лезь!..

— Один не сможешь...

— Лезь...

Рев моторов. Вертолеты висят над палубой. Видно, как подтягивают Фомина. На барже — один Рахматуллин.

Петля над палубой. К ней тянется рука, но петля уходит в сторону. Напряженное и упрямое лицо Рахматуллина. Оглушающий рев моторов.

Шатающаяся фигурка охотится по палубе за петлей. Вот-вот человек ее схватит, но рука не достает. Рахматуллин держится за леера, смотрит на петлю, вытирает пот со лба. Снова идет вдоль рубки, за рубку.

Петля перед глазами. Внизу в открытом трюме плещется вода. И Рахматуллин тянется к петле. А когда протягивает руку, две петли расходятся в стороны... Пустота. Неожиданно вода снизу кинулась навстречу Рахматуллину. Он падает в открытый трюм, в воду. От удара приходит в сознание, сидит мокрый, измученный, смотрит вверх. А над ним, оглушительно ревя моторами, висят странные птицы. Огромные до нереальности. Одна совсем низко, две других выше. Видит он это или чудится? Рев моторов, плеск воды, измученное, ошеломленное лицо Рахматуллина. Он уже не в силах охотиться за петлей. Он только смотрит.

И тогда сама петля начинает искать неподвижного человека. Вертолет снижается, ведет петлю прямо на Рахматуллина. Промахнулся. Медленно развернулся, снова ведет петлю. Ближе, ближе, реву моторами вертолет движется медленно. Петля повисает над Рахматуллиным. Тот хватается ее, пролезает.

В вертолет втаскивают мокрого, обессиленного человека. Он без сознания.

Рахматуллин открывает глаза. Из мутной пелены — крупные лица: веселое, улыбающееся лицо летчика в шлеме и лицо Фомина. Оно встревожено.

— Америка!.. Рашен!..— кричит довольный летчик и хлопает себя и Фомина.
— Баржа,— говорит Рахматуллин и, держась за Фомина, при его помощи садится.— Баржа там... Ее как же?..

Летчик кивает радостно — мол, понял:

— Рашен!.. Америка!..

Он рад всему этому приключению, тому, что он хороший парень, они хорошие парни, и вообще все хорошо.

А внизу под вертолетами, перемещаясь в сторону, удаляется покинутая баржа.

Толпа матросов около дверей каюты. Оживление. На английском языке в возбужденном разговоре слышатся слова: «Сорок девять дней... сорок девять!» В руках одного разговорник, другой заглядывает ему через плечо. Они перебрасываются ломаными русскими фразами:

— Как много вы стары?

— Что ваше имя? О!

Оба довольны.

Раздвигая толпу, с кружкой в руках идет один из матросов. Матрос с разговорником обращается к нему:

— Как много вы стары? Йес?..

Но матрос с кружкой важно отстраняет его.

Каюта. Ребята сидят у стола. Фомин жадно курит

Корабельный врач проверяет у Бойкова пульс. Матрос с кружкой задержался у двери. Взгляды всех четверых устремлены на кружку. Врач отпустил руку Бойкова, матрос подает ему кружку. Врач передает ее Бойкову. Тот отпил, передает Подгорному, что-то сказал тихо, так, что нельзя расслышать, и улыбнулся.

— Что он сказал?— спрашивает врач по-английски.

Матрос, принеший кружку, понимал по-русски, он быстро заговорил. Слова его переводятся:

— Он говорит, там у них остался чайник... По глотку воды... Они сэкономили... Не пили... Жалеют теперь...

Что-то дрогнуло в лице у врача. Он быстро заговорил по-английски, а матрос переводит Бойкову:

— Это тебе одному... Тебе... Пей... Много пей... Сейчас всем будет вода... Принесут всем...

Но Бойков все же отдал кружку Подгорному. Отпив, тот передает Фомину. Фомин после себя передает Рахматуллину.

За этой процедурой питья со стороны следит капитан — человек с твердым, властным лицом военного. Он много старше этих мальчиков, много испытал, он не склонен к умилению.

В дверь с подносом входит повар-малаец. На подносе — вода в стаканах и несколько пачек сигарет. Двери за ним уже не закрываются. В них сперва по одному, а потом гуще просачиваются матросы. Они окружают ребят. Что-то говорят им, объясняются жестами, улыбками. Суют сигареты. Один протягивает Бойкову зажигалку. Объясняет что-то по-английски, видит, что его не понимают, тычет в надпись на зажигалке, просит матроса, который принес кружку, перевести. Тот переводит.

— Это невеста... Невеста... Ее имя (показывает на зажигалке). Подарила.

А матрос в это время радостно кивает, тычет в себя и в надпись на другой стороне зажигалки. Опять переводят:

— Его имя... Гарри...

И матрос, подаривший зажигалку, еще радостней закивал.

— Как вы, ничеффо себя чувствуете, мой сударь?

Это уже несколько раз пытается спросить матрос с разговорником. На лицах всех матросов, повара, врача — хорошее, доброе, человеческое выражение. Повар-малаец обращается по-английски к матросу, который стал теперь за переводчика, и тот переводит его слова:

— Он говорит, народное русское кушанье — беф-строганов... Он знает... Он приготовит по книге... Он хорошо готовит.

Врач отходит к капитану. С тем же добрым выражением лица, говорит, глядя на матросов, которые, отчаянно жестикулируя, обступили русских парней.

На лице капитана, крупном, суровом лице, — тоже непроизвольное выражение доброты. Но во взгляде его появляется ирония над доктором, над собой, над этим неожиданным для него самого чувством доброты. Он профессиональный военный и не забывает об этом даже сейчас.

Над палубой авианосца висят вертолеты. Они один за другим, разворачиваясь, садятся на палубу.

Один из вертолетов, только что спустившийся на палубу. Из него поспешно выскакивают увешанные фотоаппаратами репортеры.

Многоликая толпа на палубе — корреспонденты различных газет. Шляпы, береты, лысины, проборы, шум голосов, суeta, на всех лицах — сенсация! Дюжие матросы сдерживают прибывших. Выходит капитан, корреспонденты плотно обступают его. Капитан поднимает руку, призывает к тишине. Категоричным голосом военного, привыкшего отдавать приказания, объявляет:

— Парни еще слишком слабы. Пресс-конференция будет короткой. Десять минут, не больше. — Указывает на часы, поворачивается к корреспондентам спиной.

Те с шумом ринулись вперед.

Обширный зал кают-компаний полон корреспондентов — возбужденные, они сидят за столами. Неясный гул голосов. В руках блокноты и фотоаппараты, кинокамеры. Кто-то пристраивает возле себя портативную машинку. Пожилой репортер радиовещания суетится, тянет провод с микрофоном. Вспышки ламп. Очередной корреспондент задает вопрос...



У ног ребят, не загораживая их от фотокорреспондентов, ползает пожилой человек с микрофоном в руке, подставляя его то одному, то другому. Ребята несколько сбиты с толку всем этим шумом, особенно смущает пожилой человек, ползающий у ног; ребята переглядываются.

Встал корреспондент солидной газеты. Это не восторженный, это знающий себе цену деловой человек. Но раньше успел задать вопрос другой, высунувшийся из-за его спины корреспондент:

— Вы молились во время шторма?

Один из ребят отрицательно покачал головой.

Спокойно, словно его и не прерывали, корреспондент солидной газеты говорит:

— Я знаю, что в такой обстановке можно потерять человеческий облик, сойти с ума, превратиться в зверей. У вас, конечно, были ссоры, может быть, даже драки из-за последнего куса хлеба, из-за последнего глотка воды.

Офицер-переводчик переводит вопрос. Общее любопытство. Снова один из ребят отрицательно покачал головой. Корреспондент задает новый вопрос...

Пальцы бегут по клавишам пишущей машинки.

Целый каскад прессы. Кричащие заголовки, фотографии. На одних — изможденные, с запавшими глазами, бородатые лица. На других — четверо молодых ребят в пилотках, лица крепкие, веселые. Фотографии баржи. Газеты и журналы на разных языках. И снова заголовки. Стуку пишущей машинки вторит писк радиосигналов, голоса радиодикторов на всех языках:

«Четверо русских солдат в океане!»

«49 дней дрейфа без пищи». «Мужество русских парней не поддается описанию». «В истории мореплавания единственный в своем роде случай!..» «Это изумительная эпопея, — заявил Ален Бомбар, — к сожалению, еще неизвестны подробности этой истории, позволяющие делать выводы...»

Среди всех газет в кадре выделяется наша «Комсомольская правда». Заголовок: «Родина ждет своих отважных сынов».

Палуба авианосца. На складных креслах сидят четверо наших ребят, окруженные американскими моряками.

Американец-механик, взявший на себя роль переводчика, путая английские слова с русскими и украинскими, пытается вести разговор. Он кивает на огромного матроса, уже давно твердящего ему что-то по-английски, и переводит:

— Вин каже, вы есть живой... Вы — о'кей, потому что русски всегда... дуже крепки... много силы!

Ребята понимают, что он хочет сказать, усмеваются.

— Нет, — говорит Бойков. — Не в этом дело. Мы все вместе были, понимаете? Вместе, все время вместе!

И он сплетает пальцы, поясняя это.

Огромный матрос, не дожидаясь перевода, кивает:

— Йес, йес...

— Поняли, поняли? — улыбается Бойков.

Но Фомин перебивает его:

— Да не поймет он, Витя, ладно тебе!

— Но, но!— волнуется переводчик.— Я разумею, я скажу ему...

— Понимаешь, один бы я не выжил,— продолжает Бойков.— Один за всех, все за одного! Тогда каждый сильнее. Вместо все можно, понятно?

И хотя переводчик кивает, Фокин снова смеется:

— Да ничего ему не понятно.

— Йес, йес!— кричит огромный моряк.— Айм андерстенд!— Он волнуется— ему могут не поверить, что он понял, и он так же, как и Бойков, соединяет руки и быстро начинает объяснять по-английски. Почувствовав, что этого мало, он громко зовет:— Джек! Майк!.. Чарли!..— И когда сбегается еще десяток матросов, он, объясняя, как это понял, своими длинными ручищами сгребает Бойкова, Рахматуллина, «переводчика», кладет им руки на плечи. К ним, еще не очень понимая зачем, но увлеченные этой игрой, присоединяются все остальные.

Они обнимаются с четырьмя русскими солдатами.

Огромный матрос, счастливый, что его поняли, громко кричит по-английски что-то очень радостное.

На другом участке палубы стоят капитан и доктор. Доктор с волнением и симпатией смотрит на матросов, обступивших русских.

— Кажется, на планете потеплело,— говорит он с доброй улыбкой.

Не желая выдавать собственного сочувствия, капитан проницательно улыбается.

— Вы, врачи, и в военной форме остаетесь штатскими.

Доктор проницательно смотрит на капитана. Он не верит его иронии.

— Хорошо, когда солдаты не стреляют, а помогают друг другу,— добавляет доктор.— Хорошо, когда люди вспоминают, что они люди.

Капитан, пряча улыбку, отворачивается. Ему, профессиональному военному, не полагается высказывать свои взгляды на этот предмет.

А матросы все еще кричат радостно, обступив четырех советских солдат.

И голос диктора, вступивший вначале на разговоре доктора и капитана как голос переводчика, обретает самостоятельное публицистическое звучание:

— Одно из самых радостных открытий,— когда открываются в людях добрые человеческие чувства. Вот и все... Конец? Мы верим, что это только начало. Мы люди одной планеты — Земли. Нас меньше, чем над нами планет в небе. И мы сильны, пока мы все вместе, пока мы живем, взявшись за руки.